

Annotation

«Сиддхарта» (1920) – описывает путь одиночки. Ее действие разворачивается в древней Индии в те времена, когда Будда Гаутама еще только начинал проповедовать свое учение.

Заглавный герой повести, сын брахмана, ушел от своего отца, чтобы стать бродячим аскетом; затем ушел от бродячих аскетов, чтобы услышать учение Будды; затем покинул Будду, чтобы соблазн следовать его учению не стал преградой на его собственном пути к просветлению. И просветление, обретенное им много лет спустя, заключалось в том, что он обрел способность видеть, принимать и любить мир таким, как он есть. Он понял, что времени не существует, и каждая вещь, которая может стать Богом или Буддой в результате длинной цепи перерождений, в действительности уже сейчас является и Богом, и Буддой.

- [Сиддхарта](#)
 - [Часть первая](#)
 - [СЫН БРАХМАНА](#)
 - [У САМАН](#)
 - [ГАУТАМА](#)
 - [ПРОБУЖДЕНИЕ](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [КАМАЛА](#)
 - [У ЛЮДЕЙ-ДЕТЕЙ](#)
 - [САНСАРА](#)
 - [У РЕКИ](#)
 - [ПЕРЕВОЗЧИК](#)
 - [СЫН](#)
 - [ОМ](#)
 - [ГОВИНДА](#)
-

Сиддхарта

Часть первая

СЫН БРАХМАНА

Под сенью родительского дома, на солнце речного берега у лодок, в тени салового леса, в тени смоковниц вырос прекрасный сын брахмана, юный сокол Сиддхартха, вместе с Говиндой, своим другом, сыном брахмана. Солнце покрывало загаром его белые плечи на берегу реки, при купании, при священных омовениях, при жертвенных обрядах. Тень вливалась в его черные очи – в манговой роще, при играх мальчиков, при песнях матери, при священных жертвоприношениях, при поучениях ученого отца и беседах мудрецов. Давно уже Сиддхартха принимал участие в этих беседах; вместе с Говиндой упражнялся он в словесных состязаниях, в искусстве созерцания, с целью самоуглубления. Уже он в состоянии был беззвучно произносить слово «Ом», это слово слов, – беззвучно выговаривать его при дыхании и выдыхании, с сосредоточенной душой, с челом, озаренным сиянием ясной мысли. Уже в глубине своего существа он познавал Атмана, непреходящего, со вселенной единого.

Радость наполняла сердце отца при виде сына, столь одаренного, жаждущего знания: великого мудреца и священно служителя провидел он в нем, князя среди брахманов.

Блаженством преисполнялась грудь матери, когда она глядела на сына, когда видела, как двигался, садился и вставал Сиддхартха, сильный, прекрасный, как ступали его стройные ноги, с какой отменной благопристойностью он ее приветствовал.

Любовь зарождалась в сердцах юных дочерей брахманов, когда Сиддхартха проходил по улицам города, с лучезарным челом, с царственным взором, с узкими бедрами. Но всех больше любил его Говинда, его друг, сын брахмана. Он любил очи и чарующий голос Сиддхартхи, любил его походку и исполненные благородства движения, любил все, что делал и говорил Сиддхартха-а всего больше любил его душу, его огненные мысли, его пламенную волю, его высокое призвание. Ибо знал Говинда – не рядовым брахманом станет его друг, не небрежным исполнителем жертвенных обрядов, не алчным продавцом заклинаний, не тщеславным пустым краснобаем, не злым и коварным жрецом, – как не будет он добродушным и глупым бараном в многоголовом стаде. Нет, не будет этого! Да и он – Говинда – не хотел стать одним из тех брахманов, каких существуют десятки тысяч. Он хотел следовать во всем за Сиддхартхой, за любимым, чудным. И если Сиддхартха когда-нибудь

станет богом, если он приобщится к сонму лучезарных, – тогда и он, Говинда, последует за ним, – как друг его, как спутник, как слуга и копьеносец, как тень.

Все любили Сиддхартху. Во всех он вселял радость, для всех был утехой.

Но сам он, Сиддхартха, не ведал радости, не знал утех. Гуляя по розовым дорожкам сада, среди смоковниц, сидя под голубоватой сенью Рощи Созерцания, совершая ежедневные очистительные омовения, принося жертвоприношения в тенистой глубине манговой рощи, с отменной благопристойностью в каждом своем движении, всеми любимый, всем радуя взоры, – сам он, однако, не находил радости в своем сердце. В струях речных вод, в мерцании ночных светил, в сиянии солнечных лучей мелькали перед ним образы, носились неутомимые мысли. Грезы и душевную тревогу навевали на него и курение жертвенного фимиама, и стихи Ригве-ды, и поучения древних брахманов.

И Сиддхартха познал муки неудовлетворенности. Он по чувствовал, что любви родителей, любви Говинды, его друга, недостаточно, чтобы навсегда и всецело осчастливить, успокоить и насытить его. Он догадывался, что его достопочтенный отец и другие его учителя – мудрые брахманы уже передали ему большую и лучшую часть своей мудрости, что они уже передали все свое богатство в его алчущий сосуд, – но не наполнился сосуд, не удовлетворена мысль, не успокоилась душа, не умиротворено сердце. Омовения вещь хорошая, – но не водою же смыть грех, утолить жажду души, унять тревогу сердца? Превосходны жертвоприношения и вознесения молитв к богам – но разве этого достаточно? Разве жертвоприношения дают счастье? А боги? Действительно ли творцом мира был Праджапати, а не Атман – Он, Единственный, Всеединный? Ведь и боги существа сотворенные, как я и ты, подчиненные времени, преходящие... И хорошо ли в таком случае, правильно ли, имеет ли смысл приносить им жертвы? Кому же и приносить жертвы, Кому поклоняться, как не Ему, Единственному, Атману? И где искать Атмана, Где Он пребывает, где бьется Его извечное сердце? Где, как не в собственном Я, в его сокровенной глубине, в том Не уничтожаемом, что каждый носит в себе? Но где же, где это Я, это сокровенное, это начало начал? Оно не в плоти и не в крови, не в мысли и не в сознании, – учат мудрейшие. Где оно тогда? Существует ли иной путь, чтоб проникнуть туда, к этому Я, ко мне, к Атману? И стоит ли его искать? увы, никто не может указать этот путь, никто не знает его, – ни отец, ни наставники и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения. Все-то они – брахманы и

их священные книги – знают, всем-то и даже более чем всем они интересовались– творением мира, происхождением речи, пищи, вдыхания и выдыхания, соотношением чувств, деяниями богов. Бесконечно много знают они, – но какую цену имеет все это знание, если не знаешь Единого и Единственного, важнейшего, единственно важного?

Правда, во многих стихах священных книг, в особенности в упанишадах Самаведы говорится об этом сокровенном, из начальном... Дивные это стихи! «Твоя душа – это весь мир», – гласят они. И еще в них говорится, что человек в состоянии глубокого сна – входит в свое сокровенное Я, пребывает в Атмане. Дивная мудрость звучит в этих стихах; все знание мудрейших собрано тут и высказано в магических словах, – чистое, как пчелами собранный мед. Нет, нельзя не относиться с глубочайшим уважением к столь огромным запасам знания, собранным и сохраненным бесчисленными поколениями мудрых брахманов. Но где брахманы и жрецы, где те мудрецы и подвижники, которым удалось не только достигнуть, но и воплотить в жизнь это глубочайшее знание? Где тот чародей, который сумел бы это пребывание в Атмане во время сна перенести в бодрственное состояние, в жизнь, в действие, в слово и дело? Многих почтенных брахманов знал Сиддхартха. Прежде всего – своего отца, чистого, ученого, почтеннейшего из почтенных. Достоин преклонения был его отец: кротостью и благородством дышало его обращение, чиста была его жизнь, мудро было его слово, утонченная и возвышенная мысль отражалась на его челе. Но и он, – столь много познавший, – видал ли он блаженство? Жил ли он в мире с самим собой, не был ли и он лишь ищущим, жаждущим? Разве не приходилось ему, чтобы утолить свою жажду, снова и снова черпать из священных источников, – из жертвоприношений, из книг, из собеседований с брахманами? Зачем ему, безупречному, надо каждый день смывать грех, каждый день совершать очищение – каждый день предельвать все сызнова? Разве Атман не живет в нем, разве не течет в его собственном сердце первоисточник? Его-то – этот первоисточник – и надо отыскать в собственном Я. Им-то и надо овладеть. Все же остальное лишь искание, лишь хождение окольными путями, блуждание.

Таковы были мысли Сиддхартхи, вот что его мучило, причиняло страдание.

Часто он повторял слова из одной Упанишады Чхандогья: «Воистину имя Браммы-Satyam. – Воистину тот, кто постиг это, ежедневно вступает в небесное царствие». Подчас оно и ему казалось таким близким, это небесное царствие, но ни разу не удалось ему достигнуть его окончательно,

утолить жажду вполне. И среди всех мудрых и мудрейших, которых он знал, поучениям которых внимал, не было ни одного, кто достиг бы вполне этого небесного царства, ни одного, кто утолил бы всецело эту вечную жажду.

– Говинда, – сказал однажды Сиддхартха своему другу, – Говинда, милый, пойдем под банановое дерево – будем упражняться в самопогружении.

И они пошли к банановому дереву и сели под ним – тут Сиддхартха, а в двадцати шагах от него Говинда. И Сиддхартха, садясь, готовый произнести слово Ом, – шепотом повторил стих:

Ом – есть лук, душа-стрела.
А Брахма – цель для стрел,
В ту цель попасть старайся ты.

Когда прошло время, посвященное самопогружению, Говинда поднялся с места. Уже наступил вечер, пора было приступить к вечернему омовению. Он окликнул Сиддхартху, но тот не отозвался. Сиддхартха сидел, всецело погруженный в самого себя – глаза его неподвижно глядели в даль, кончик языка слегка высунулся между зубов, – казалось, он даже перестал дышать. Так он сидел, погруженный в созерцание, мысля Ом – и душа его была стрелой, устремленной к Бrame.

Однажды через город, в котором жил Сиддхартха, прошли саманы – три странника аскета, высохшие, угасшие люди, не старые и не молодые, с покрытыми пылью и кровью плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, пришельцы и исхудалые шакалы в царстве людей. Знойным дыханием безмолвной страсти веяло от них, – дыханием изнуряющего радения, беспощадного самоотрешения.

Вечером, когда миновал час созерцания, Сиддхартха сказал Говинде:

– Друг мой, завтра с рассветом Сиддхартха уйдет к саманам: он станет – саманой.

Говинда побледнел, когда услышал эти слова, когда в не подвижном лице друга прочитал решимость – непреклонную, как пущенная из лука стрела. И сразу, с первого же взгляда Говинда понял: «Вот оно – началось! Уже Сиддхартха вступает на свой путь, уже начинает свершаться его судьба, а с ней и моя». И он стал бледен, как сухая кожица банана.

– О Сиддхартха! – воскликнул он, – позволит ли твой отец?

Сиддхартха взглянул на него, как пробудившийся от сна. С быстротой стрелы он прочел то, что происходило в душе Говинды, прочел его страх, прочел его покорность.

– О Говинда, – сказал он тихо, – не будем расточать напрасно слов. Завтра с наступлением дня я начинаю жизнь саманы. Не будем больше говорить об этом.

И Сиддхартха вошел в горницу, где на плетеной циновке сидел его отец. Он стал за его спиной и стоял так до тех пор, пока отец не почувствовал, что кто-то стоит позади него. И сказал брахман:

– Ты ли это, Сиддхартха? Поведай же то, что ты пришел сказать.

И ответил Сиддхартха:

– С твоего позволения, отец, я пришел сказать тебе, что сердце велит мне завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать саманой – вот в чем мое желание. Да не воспротивится этому отец мой!

Брахман молчал – молчал так долго, что звезды успели переместиться в маленьком окошечке и изменить свое распо ложение, пока в горнице длилось молчание. Безмолвно и не подвижно, со скрещенными руками, стоял сын, – безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец. Звезды же передвигались по небесному своду. И сказал отец:

– Не подобает брахману говорить резкие и гневные слова. Но гнева исполнено мое сердце. Да не услышу я эту просьбу из твоих уст вторично.

Медленно поднялся с места брахман. Сиддхартха же продолжал стоять, безмолвный, со скрещенными руками.

– Чего же ты ждешь? – спросил отец.

– Ты знаешь! – ответил Сиддхартха.

В гневе покинул горницу отец; в гневе он отыскал свое ложе и опустился на него.

Пришел час, а сон все еще не сомкнул его очей. Тогда брахман встал, прошелся по комнате и вышел из дому. Через маленькое окошечко заглянул он в горницу и увидел, что Сиддхартха стоит на том же месте, скрестив руки, непоколебимый. Белели в сумраке его светлые одежды. С тревогой в душе вернулся отец на свое ложе.

Прошел еще час, а сон все не приходит. Тогда брахман снова встал, ходил взад и вперед, вышел из дому и увидал, что луна уже взошла. Через окошечко заглянул он в горницу – Сиддхартха стоял все на том же месте, со скрещенными руками, и лунный свет играл на его обнаженных коленях. И полон заботы вернулся отец на свое ложе.

И снова он приходил – через час, через два, заглядывал в маленькое окошечко; Сиддхартха все так же стоял – при свете луны, при свете звезд, в

темноте. Каждый час, молча, брахман выходил, заглядывал в горницу, видел неподвижно стоящего, – и сердце его наполнялось гневом, тревогой, трепетом и горем.

Но когда в последний час ночи, перед рассветом, он вышел опять, то вошел в горницу и, взглянув на стоящего юношу, который показался ему выросшим и каким-то чуждым, сказал:

– Чего ты ждешь, Сиддхартха?

– Ты знаешь.

– Ты все будешь стоять так и ждать, пока не наступит день, полдень, вечер?

– Я буду стоять и ждать.

– Ты устанешь, Сиддхартха!

– Устану.

– Ты умрешь, Сиддхартха!

– Умру.

– Ты предпочитаешь умереть, чем слушаться отца?

– Сиддхартха всегда слушался отца.

– Так ты отказался от своего намерения?

– Сиддхартха сделает то, что прикажет ему отец.

Первый проблеск зари проник в горницу. Брахман увидел, что колени Сиддхартхи слегка дрожат. Но в лице Сиддхартхи не было дрожи. В бесконечную даль были устремлены его глаза. И понял отец, что Сиддхартха уже не с ним, не в родном доме, что он уже покинул его.

Тогда отец дотронулся до плеча Сиддхартхи и сказал:

– Ты пойдешь в лес и станешь саманой. Если в лесу ты обретишь блаженство, приходи научить и меня. Если же постигнет тебя разочарование, вернись, и мы снова будем вместе творить жертвоприношения богам.

Он снял руку с плеча сына и вышел из дому. Сиддхартха пошатнулся, когда делал первый шаг. Но он овладел своими членами, поклонился отцу и пошел к матери, как велел ему отец.

Когда при первых утренних лучах, медленно, онемевшими ногами, он покидал еще спящий город, у последней хижины поднялась какая-то съезжившаяся фигура и присоединилась к страннику. Это был Говинда.

– Ты пришел! – сказал Сиддхартха и улыбнулся.

– Я пришел, – сказал Говинда.

У САМАН

Вечером того же дня юноши догнали высохших аскетов-саман. И выразили свое желание стать их спутниками и учениками.

Саманы согласились.

Сиддхартха подарил свое платье бедному встреченному по дороге брахману. Теперь он имел на себе только повязку вокруг чресел и кусок материи без швов, землистого цвета, служивший ему плащом. Пищу он принимал только раз в день и притом лишь такую, которая не была приготовлена на огне.

Он постился пятнадцать дней подряд. Постился двадцать восемь дней. Тело его исхудало, щеки обтянулись. Знойные грозы горели в его ставших огромными глазах. На высохших пальцах выросли длинные ногти, подбородок оброс сухой, всклокоченной бородой. Ледяным становился его взгляд, когда он встречал женщин; уста кривились презрением, когда он проходил через город с нарядно одетыми людьми. Он видел, как торговали купцы, как отправлялись на охоту князья, как родственники оплакивали своих покойников; видел непотребных женщин, предлагающих свои ласки, врачей, хлопочущих у ложа больных, жрецов, назначающих день посева, видел обменивающихся ласками влюбленных, кормящих грудью матерей. Но все это казалось ему не стоящим его взгляда, все это была ложь, смрад, от всего смердело ложью, все имело только видимость смысла, счастья, красоты, на самом же деле было несознаваемым тленом. Горечью отзывалось все в мире. Мукой была вся жизнь.

Одну только, единственную цель ставил себе Сиддхартха: опустошать свою душу, вытравить из нее всякие стремления и желания, всякие грезы, всякие радости и страдания. Умереть для самого себя, перестать быть Я, обрести покой в опустошенном сердце, самоотрешившейся мыслью быть готовым к приятию чуда – такова была эта цель. Когда все личное будет преодолено и умрет, когда смолкнут в сердце все желания и страсти, тогда должно будет проснуться основное, сокровеннейшее в человеческом существе – то, что уже не есть «Я» – великая тайна.

Молча выстаивал Сиддхартха под отвесно падающими солнечными лучами,жигаемый болью, сгорая от жажды, и стоял до тех пор, пока не переставал чувствовать и боль, и жажду. Молча стоял он в дождливое время года; с волос его струилась вода на озябшие плечи на мерзнущие бедра и ноги – стоял до тех пор, пока и плечи, и ноги не переставали

ощущать холод, пока они не утрачивали всякую чувствительность. Молча садился он среди усеянных шипами растений; из обожженной кожи капала кровь, из нарывов выступал гной, но Сиддхартха продолжал сидеть, как пригвожденный, не двигаясь с места, и сидел до тех пор, пока кровь не переставала течь, пока он не чувствовал более ни уколов, ни жжения.

Сиддхартха сидел прямо, как столб, и приучался сберегать дыхание, довольствоваться как можно меньшим количеством воздуха, приучался и совсем задерживать дыхание; вместе с дыханием он приучался замедлять и биение сердца, уменьшать число его ударов, пока сердце почти совсем не переставало биться.

Под руководством старейшего из аскетов Сиддхартха упражнялся в самоотрешении и самопогружении, по новым правилам саман. Вот белая цапля пролетела над бамбуковым лесом. И Сиддхартха тотчас же воспринимал цаплю в свою душу, летал над лесами и горами, сам становился цаплей, пожирая рыб, голодал вместе с цаплей, кричал голосом цапли, умирал смертью цапли. Мертвый шакал лежал на песчаном берегу, и душа Сиддхартхи входила в труп, становилась мертвым шакалом, лежала на берегу, вздувалась, смердела, разлагалась, растерзывалась гиенами и коршунами, превращалась в скелет, становилась прахом и развеивалась по полю. Но испытав смерть, разрушение и распыление, изведав мутное опьянение круговорота, душа Сиддхартхи возвращалась назад, снова томимая жаждой и, как охотник, вновь высматривала лазейку, через которую можно было бы вырваться из круговорота вещей туда, где наступал конец закону причинности, где начиналась чуждая страданию вечность. Он умерщвлял свои чувства, умерщвлял свою память; он ускользал из своего «Я» в тысячу чужих оболочек, становился животным, падалью, камнем, деревом, водой, но всякий раз, пробуждаясь, – при свете ли солнца или в сиянии месяца – снова находил себя, снова становился «Я», носился в круговороте, чувствовал жажду, подавлял ее, и вновь томился жаждой.

Многому научился Сиддхартха у саман, много путей узнал он, чтобы уйти от Я. Он научился отрешаться от своего «Я» путем страдания, добровольным претерпеванием боли, голода, жажды, усталости. Он достигал самоотрешения и путем размышления, удалением из своего ума всяких представлений. Этими и другими путями он научился достигать же лаемого – тысячи раз он покидал свое «Я», часами и днями пребывал в «Не – Я». Но хотя этими путями он уходил далеко от «Я», конец каждого пути неизменно подводил его обратно к «Я». Хотя бы Сиддхартха тысячу раз ускользал от «Я», пре бывал в «Ничто», пребывал в животном, или камне, –

ними нудным было возвращение, неизбежно наступал час, когда он снова находил самого себя, – при свете ли солнца, в сиянии ли месяца, в тени или под дождем – снова становился Я и Сиддхартхой и снова испытывал муки вынужденного кружения в круговороте.

Рядом с ним подвигался и Говинда, его тень; он шел теми же путями, подвергал себя тем же истязаниям. Редко говорили они между собой о чем-нибудь ином, помимо того, что требовалось служением и упражнениями. Иногда они вдвоем отправлялись по деревням, чтобы выпрашивать пищу для себя и своих наставников.

– Как ты полагаешь, Говинда, – спросил однажды Сиддхартха, когда они шли побираться, – как ты полагаешь, подвинулись мы вперед? Достигли мы какой-нибудь из наших целей?

На что Говинда ответил:

– Мы учились и продолжаем свое учение. Ты, Сиддхартха, станешь великим саманой. Ты быстро усвоил все упражнения – старые саманы часто восторгались тобой. Ты со временем станешь святым, о Сиддхартха!

Но Сиддхартха заметил на это:

– Я смотрю на дело иначе, друг мой. Всему, чему я доньше научился у саман, я мог бы научиться скорее и более простым путем. В любой харчевне квартала, населенного публичными женщинами, среди извозчиков и игроков в кости, я мог бы, о друг мой Говинда, научиться тому же.

И сказал Говинда:

– Ты шутишь, Сиддхартха! Каким образом ты мог бы у таких жалких созданий научиться самопогружению, задерживанию дыхания, нечувствительности к голоду и боли?

И Сиддхартха тихо, словно говоря с самим собой, ответил:

Что есть погружение? Что означает оставление своего тела? Какой смысл имеет пост или задерживание дыхания? Все это – бегство от «Я», все это лишь кратковременное убежание от мук своего бытия, кратковременное самоусыпление, дабы не чувствовать страдания и бессмысленности жизни. Но то же временное освобождение, ту же кратковременную бесчувственность погонщик волов находит на постоялом дворе, когда выпьет несколько чашек рисового вина или перебродившего кокосового молока. Тогда он перестает чувствовать свое Я, перестает чувствовать страдание жизни; на короткое время ему удастся одурманить себя. В своей чаше с рисовым вином, над которой он задремал, он находит то же самое, что находят Сиддхартха и Говинда, когда путей продолжительных упражнений выходят из своей телесной оболочки и пребывают в Не-Я. Вот как обстоит дело, о Говинда! И сказал Говинда:

– Ты говоришь так, друг, хотя и ты знаешь, что Сиддхартха не погонщик волов, а самана не пьяница. Правда тому, кто пьет, удается одурманить себя, он находит временное освобождение и покой, но ведь его самообман проходит, и он убеждается, что все осталось по-старому; он не стал мудрее, не приобрел познаний, не поднялся на высшую ступень.

Но Сиддхартха заметил на это с улыбкой:

– Не знаю, я никогда не напивался, но что я, Сиддхартха, в своих упражнениях и самопогружениях нахожу лишь временное усыпление и так же далек еще от мудрости, от искупления, как ребенок в чреве матери, это-то я знаю, о Говинда, это-то я хорошо знаю...

И в другой раз, когда оба они вышли из лесу, чтоб попросить в деревне для своих братьев и учителей немного пищи, Сиддхартха снова заговорил о том же;

– Ну, что же, Говинда, как по-твоему – мы на верном пути? Ближе ли мы стали к познанию и искуплению? Не вертимся ли мы, в сущности, в круге – мы, рассчитывавшие вырваться из круговорота?

И ответил Говинда:

– Многое мы узнали, Сиддхартха, и многое еще остается нам узнать. Нет, мы не вертимся в круге, мы поднимаемся вверх. Наш круг – это спираль, на несколько ступеней мы уже поднялись выше.

И сказал Сиддхартха: – Сколько по-твоему лет старейшему самане, нашему до стопочтенному учителю? Ответил Говинда:

– Лет шестьдесят, верно, будет ему. А

Сиддхартха на это;

– Шестьдесят лет прожил он на свете, а Нирваны не достиг. Он проживет и семьдесят, и восемьдесят. И мы с тобой проживем столько же, будем подвигаться, будем поститься и размышлять, а Нирваны все-таки не достигнем, – ни он, ни мы. О Говинда, сдается мне, из всех саман, существующих в мире, быть может, ни один не достигнет Нирваны. Мы тешим себя надеждами, мы приобретаем знания и умения, которыми сами себя дурачим. Но того, что одно только и является существенным, – настоящего пути мы не находим.

– Не говори таких страшных слов, о Сиддхартха! -сказал Говинда. – Возможно ли, чтобы среди стольких ученых мужей, среди брахманов и стольких ищущих и подвигающихся святых мужей ни один не нашел настоящего пути?

Сиддхартха же голосом, в котором звучало столько же печали, сколько насмешки – тихим, немного печальным, немного насмешливым голосом, ответил:

– Скоро, о Говинда, друг твой оставит стезю саман, по которой так долго шел вместе с тобой, Я томлюсь жаждой, о Говинда, а на этом долгом пути, пройденном вместе с саманами, я ни капли не утолил этой жажды. Все время я жаждал познания, все время меня осаждали вопросы. Год за годом расспрашивал я брахманов, вопрошал священные Веды, обращался к благочестивым саманам – год за годом... Быть может, о Говинда, было столько же умно и целесообразно и обращаться с такими вопросами к птице-носорогу или к шимпанзе. Сколько времени я потратил и все еще трачу на учение, а пришел лишь к тому выводу, что ничему нельзя научиться. Мне кажется, на самом деле нет ничего такого, что мы называем «учением»: есть только, о друг мой, знание, и оно везде, оно – Атман, оно во мне и в тебе, и в каждом существе. И у меня является мысль, что этому знанию ничто так не враждебно, как желание знать, как учение...

Но тут Говинда остановился среди дороги, воздел руки к небу и проговорил:

– Не пугай, о Сиддхартха, своего друга такими речами! Воистину, твои слова пробуждают тревогу в моем сердце. Подумай только: к чему же тогда все благочестивые молитвы, к чему высокопочтенное сословие брахманов, что толку в святости саманой, если, как ты говоришь, ничему нельзя научиться? Что же, Сиддхартха, станется со всем, что на земле почитается священным, ценным, достойным уважения?

И Говинда тихо, про себя, проговорил стих из Упанишад:

Кто мыслями, с чистой душой, погрузится в Атмана,
Словами не выразить сердца его блаженство.

Сиддхартха же молчал. Он обдумывал слова, сказанные ему Говиндой, и старался продумать их до конца,

– Да, – размышлял он, стоя с опущенной головой, – что же в таком случае остается от всего, что кажется нам священным? Что вообще остается? Что сохраняет свое значение?

И он покачал головой.

Однажды, когда оба юноши пробыли уже около трех лет у саман, разделяя с ними их подвижническую жизнь, до них какими-то путями дошла не то подлинная весть, не то слух, Моява: будто явился некто, прозванный Гаутамой, Возвышенным. Буддой, и будто этот некто преодолел в себе страдания мира и остановил колесо возрождений. Окруженный учениками, он странствует по земле, возвещая свое учение –

нищий, не имеющий ни дома, ни жены, в желтой одеянии аскета, но с ясным челом, блаженный. И брахманы и князья склоняются пред ним и становятся его учениками.

Эта молва, этот слух, эта сказка то и дело возникали вновь, звучали то здесь, то там. В городах об этом говорили брахманы, в лесу саманы. Снова и снова имя Гаутамы-Будды доходило до юношей, поминаемое то добром, то злом, сопровождаемое то славословиями, то хулой.

Подобно тому, как в стране, опустошаемой чумой, когда возникает слух, что там-то и там-то находится человек, мудрец ученый, который одним только словом или дуновением уст своих в состоянии излечить всякого заболевшего чумой – слух этот быстро разносится повсюду, все говорят о нем: одни с верой, другие с сомнением, третьи тотчас же пускаются в путь, чтобы разыскать этого мудреца, этого спасителя, – так точно пронеслась по стране эта благоуханная молва о Гаутаме-Будде, мудреце из рода Шакья. Этот Будда, по словам верующих, обладал высшим знанием, он сохранил память о своих прежних существованиях, он достиг Нирваны и никогда больше не должен будет вернуться в круговорот, никогда не погрузится вновь в мутный поток перевоплощений. Много чудного и невероятного рассказывалось о нем – будто он творит чудеса, будто он поборол дьявола и беседует с богами. Враги же и неверующие говорили, что этот Гаутама-тщеславный совратитель, что он проводит свои дни в излишествах, презирает жертвоприношения, что он не обладает никакой ученостью, не признает подвижничества и истязания плоти.

Дивно звучала молва о Будде, какими-то чарами веяло от рассказов о нем. Ведь мир в самом деле страдал недугом. Тяжелым бременем была жизнь, а тут, в этой молве, словно забил целебный родник, зазвучала благая весть, полная утешений и высоких обетований. Везде, куда только проникал слух о Будде, во всех странах Индии юноши приходили в возбуждение, сердца их наполнялись томлением и надеждой, В городах и селах сыновья брахманов радушно принимали всякого странника и пришельца, если он приносил какую-нибудь весть о нем, о Возвышенном, о Шакьямуни.

И к саманам в лесу, к Сиддхартхе и Говинде, проникла эта весть, – проникала медленно, по капле, но каждая капля была чревата надеждой, каждая капля была чревата сомнением. Между собой оба друга мало говорили об этом, так как старейший из саман относился неприязненно к этой молве. Он слышал, что этот якобы Будда раньше был аскетом и жил в лесу, но потом вернулся к мирской жизни и наслаждениям, и это внушило ему дурное мнение о Гаутаме.

– О Сиддхартха, – сказал однажды Говинда своему другу, – я сегодня был в деревне, и один брахман предложил мне войти к нему в дои. Там оказался сын брахмана из Ма-гадхи, который видел Будду собственными глазами и слышал его проповедь. Поистине, у меня дыхание сперлось в груди, и я подумал: «О, если бы и я, если бы мы оба, Сиддхартха и я, сподобились услышать учение из уст Того Совершенного!» Скажи, друг мой, не пойти ли и нам туда, чтобы слушать проповедь самого Будды?

И ответил Сиддхартха:

– Я всегда, о Говинда, полагал, что ты останешься у саман, всегда думалось мне, что ты мечтаешь лишь о том, чтобы прожить свои шестьдесят или семьдесят лет, все более совершенствуясь в тех знаниях и подвигах, которые украшают саману. И что же? Оказывается, что я слишком мало знал Говинду, мало проникал в сердце, оказывается, что ты, дорогой, хочешь вступить на новую стезю и идти туда, где Будда возвещает свое учение.

И сказал Говинда:

– Тебе угодно насмехаться надо мной – что ж, смейся. Сиддхартха! Но разве и в тебе не проснулось желание услышать это учение?.. И не ты ли когда-то говорил мне, что уже не долго будешь ходить по стезе саман?

Тогда Сиддхартха засмеялся своим особенным, ему одному свойственным смехом, и голосом, в котором звучала и легкая печаль, и легкая насмешка, сказал:

– Ты прав, Говинда. Верно то, что ты говоришь, и верно ты запомнил мои слова. Но припомни и другое, сказанное мною тогда же – а именно: что я утратил веру во всякие учения и проповедь, что у меня мало доверия к словам, которые мы слышим от учителей. Но все-таки, милый, я готов услышать проповедь Будды, хотя сердце говорит мне, что лучший плод его учения мы уже вкусили.

Говинда же сказал:

– Твоя готовность радует мое сердце. Но скажи, как понять твои слова? Каким образом мы могли вкусить лучший плод от учения Гаутаи еще раньше, чем услышали самое учение?

И сказал Сиддхартха:

– Будем наслаждаться этим плодом и ждать дальнейшего, о Говинда! Плод же, которым мы и теперь уже обязаны учению Гаутамы, заключается в том, что оно побуждает нас покинуть саман... Даст ли оно нам еще иное и лучшее, о друг мой, покажет будущее – будем ждать этого со спокойным сердцем.

В тот же день Сиддхартха сообщил старшему из саман, что они

порешили уйти от них. Он высказал это решение с почтительностью и скромностью, какие подобают младшему и ученику по отношению к старшему, но самана рассердился, что оба юноши хотят оставить его, возвысил голос и осыпал их грубыми бранными словами.

Говинда испугался и пришел в замешательство. Сиддхартха же подошел к нему близко и шепнул на ухо:

– Сейчас я покажу старику, что кое-чему научился у него.

И, подойдя вплотную к самане, с сосредоточенной душой, он взглянул ему прямо в глаза, приковал к себе его взгляд, заставил его замолкнуть, подчинил его волю своей и мысленно приказал ему сделать то, чего он желал от него. И старик замолк, взгляд его стал неподвижен, воля была парализована, руки повисли бессильно – он всецело подпал очарованию Сиддхартхи. Мысль же последнего овладела аскетом, и тот должен был совершить то, что она внушала ему. И вот старик стал отвешивать поклоны, делать благословляющие жесты и бормотать напутственные пожелания. Юноши же ответили поклоном на поклоны, поблагодарили за добрые пожелания и ушли прочь.

По дороге Говинда заметил:

– О Сиддхартха, ты вынес от саман гораздо больше, чем я ожидал. Трудно, очень трудно зачаровать старого саману. Поистине, если бы ты остался у них, то скоро научился бы ходить по воде.

– У меня нет никакого желания ходить по воде, – сказал Сиддхартха. – Пусть старые саманы тешат себя подобными штуками!

ГАУТАМА

В городе Саватхи каждый ребенок знал имя Возвышенного Будды; в каждом доме с готовностью наполняли чашу для сбора подаяний, безмолвно протягиваемую учениками Гаутамы. Близко от города находилось любимое местопребывание Гаутамы, роща Джетавана, которую богатый купец Анатха-пиндика, ревностный почитатель Возвышенного, подарил ему и его ученикам.

В эти места и направляли все рассказы и ответы, которые оба молодых аскета получали на свои расспросы о местопребывании Гаутамы. И когда они прибыли в Саватхи, то в Перт же доме, перед которым они остановились, прося подаяния, им предложили пищу. Они приняли угощение, и Сиддхартха спросил женщину, подававшую им кушанье:

– Велико наше желание, о милосердная, узнать, где пребывает Будда Достопочтеннейший. Мы оба саманы и пришли из лесу, чтобы увидеть его. Совершенного, и услышать учение из его собственных уст.

И женщина ответила:

– Поистине, в надлежащее место попали вы, саманы из лесу. Знайте, в Джетаване, в саду Анатхапиндики, пребывает Возвышенный. Там вы, странники, можете и ночь провести – там достаточно места для всех тех бесчисленных, что стекаются сюда, чтобы внимать поучениям Возвышенного.

Тогда обрадовался Говинда и радостно воскликнул:

– Итак, наша цель достигнута, и путь наш кончен! Но скажи нам, о мать странствующих, знаешь ли ты его, Будду, случилось ли тебе видеть его собственными глазами?

– Много раз видела я Возвышенного, – ответила женщина. – В иные дни я вижу, как он проходит по улицам, безмолвно, в желтом плаще, как он молча протягивает у дверей домов свою чашу для подаяний, как он уносит наполненную чашу.

С восторгом прислушивался к ее словам Говинда. Он готов был еще долго расспрашивать и слушать ее, но Сиддхартха заторопил его продолжать путь. Они поблагодарили и пошли дальше, не имея даже надобности расспрашивать о дороге, так как немало странников и монахов из общины Га-утамы направлялись туда же, в Джетавану. И хотя они прибыли туда ночью, но в роще еще царило большое оживление: то и дело прибывали новые люди, слышались возгласы, разговоры и расспросы о

пристанище. Оба саманы, привыкшие к жизни в лесу, скоро и бесшумно отыскали себе местечко для ночлега и проспали там до самого утра.

Когда взошло солнце, они с изумлением увидели, какая огромная толпа верующих и любопытных провела тут ночь. По всем дорожкам чудной рощи расхаживали монахи в желтой одеянии; другие сидели под деревьями, погруженные в созерцание или занятые духовной беседой. Похожим на город был этот тенистый парк, в котором люди кишели, как пчелы в улье. Большинство монахов направилось в город с чашами для подаяний, чтобы собрать припасов для полуденной трапезы, единственной в течение дня. Сам Будда, Просвещенный, отправлялся по утрам за сбором подаяний.

Сиддхартха увидел его и тотчас же, точно по наитию свыше, узнал. Он увидел тихо идущего скромного человека, в желтой рясе, с чашей для подаяний в руках.

– Взгляни туда, - тихо сказал Сиддхартха Говинде, – вон идет Будда!

Говинда внимательно взглянул на монаха в желтой рясе, с виду будто ничем не отличавшегося от сотен других монахов. И скоро также сказал себе:

– Это он!

И оба пошли вслед за Буддой, не спуская с него глаз.

Будда шел своей дорогой со скромным видом, погруженный в думы. Его спокойное лицо не было ни радостно, ни грустно, оно как будто освещалось улыбкой изнутри. Со скрытой улыбкой, тихо, спокойно, напоминая здоровое дитя, шел вперед Будда, нося свое одеяние и ставя ногу так же, как все его монахи, по точно предписанным правилам. Но лицо его и походка,, его тихо опущенный взор, его тихо свисающая рука и даже каждый палец на этой тихо опущенной руке дышали миром, дышали совершенством. В них не чувствовалось никаких исканий, никакой подражательности, от них веяло кроткой, неувядаемой безмятежностью, неугасаемым светом, ненарушимым миром.

Так шел Гаутама, направляясь в город за подаянием, и оба саманы узнали его по одному только этому безграничному спокойствию, по безмятежности всей его внешности, в которой не было заметно никаких исканий и желаний, ничего деланного и принужденного, в которой все было – свет и мир.

– Сегодня мы услышим учение из собственных его уст! – сказал Говинда.

Сиддхартха оставил это замечание без ответа. Он не особенно интересовался самим учением. Он не ожидал услышать что-нибудь новое –

ведь ему, так же как и Говинде, уже не раз приходилось слышать о содержании проповеди Будды, хотя и в передаче из вторых и третьих рук. Но он внимательно глядел на голову Гаутамы, на его плечи, ноги, на тихо опущенную руку, и ему казалось, что каждый сустав на каждом пальце этой руки учил, говорил, дышал, благоухал, сияя правдой. Этот человек, этот Будда был правдив до кончиков ногтей. Этот человек был святой. Никогда Сиддхартха не испытывал по отношению к другому человеку такого благоговения; ни один человек не внушал ему такой любви.

Оба юноши следовали за Буддой до самого города и молча вернулись назад, так как намерены были в этот день воздержаться от пищи. Они дождались возвращения Гаутамы, видели, как он вкушал трапезу в кругу своих учеников – даже птичка не насытилась бы тем, что он съел – видели, как он удалился под сень манговых деревьев.

А вечером, когда жара спала и лагерь оживился, все собрались вокруг Будды. Тогда и они услышали его проповедь. Они прислушивались к его голосу. И даже самый голос его был совершенен, звучал совершенным спокойствием, был полон мира. Гаутама излагал учение о страдании, о происхождении страдания, о пути к уничтожению страдания. Спокойно и ясно текла его тихая речь. Страданием была жизнь, полон страданий был мир, но избавление от страдания найдено: спасется от него тот, кто пойдет путем Будды. Кротким, но твердым голосом говорил Возвышенный, излагая свои четыре главные истины, излагая восьмеричный путь к искуплению. Терпеливо шел он обычным путем поучений – путем примеров и повторений. Ясно и тихо парил его голос над слушателями, – как свет, как звездное небо.

Когда Будда, с наступлением ночи, закончил свою проповедь, некоторые из прибывших странников выступили вперед и высказали свое желание вступить в общину и стать его учениками. И Гаутама принял их, говоря:

– Вы слышали учение, слышали, чего оно требует. Придите же к нам и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию.

И тут – о диво – выступил Говинда, всегда такой робкий, и со словами: «И я прибегаю к Возвышенному и его учению», – попросил принять его в среду учеников, и был принят.

Вслед за тем, как Будда удалился для ночного отдыха, Говинда горячо обратился к Сиддхартхе:

– Сиддхартха, не подобает мне делать тебе упрёки. Оба мы слышали Возвышенного, слышали его учение. Говинда внял ему и стал его учеником. Ты же, столь почитаемый мною, неужели не хочешь идти по

стезе спасения? Неужели ты еще колеблешься, хочешь обождать?

Сиддхартха словно пробудился от сна, услышав слова Говинды, Долго глядел он в лицо друга. Потом тихо, без малейшей насмешки в голосе, произнес:

– Говинда, друг мои, наконец-то ты сделал решительный шаг, наконец-то сам избрал свой путь. Всегда, о Говинда, ты был лишь моим другом, всегда шел только следом за мной. Часто думалось мне: неужели Говинда никогда не сделает шага самостоятельно, без меня, по собственному почину? И вот ты возмужал наконец и сам избираешь свой путь. Да обрешь ты на нем спасение!

Но Говинда, не совсем поняв слова, повторил свой вопрос тоном нетерпения:

– Отвечай же, прошу тебя, мой милый. Скажи мне, хотя иначе и быть не может, что и ты, мой ученый друг, изберешь своим прибежищем Возвышенного Буддую. Тогда Сиддхартха положил свою руку на плечо Говинды: – Ты не расслышал моего напутственного пожелания, о Говинда. Я повторю его. Да удастся тебе пройти этот путь до конца! Да обрешь ты на нем спасение!

Тут только понял Говинда, что друг покинул его, и залился слезами.

– Сиддхартха! – жалобно воскликнул он.

Сиддхартха же ласково сказал ему:

– Не забывай, Говинда, что ты отныне принадлежишь к саманам Будды. Ты отрекся от родины и родных, от своего сословия и собственности, отрекся от собственной воли, отрекся от дружбы. Так требует устав, так требует Возвышенный. Ты сам захотел этого! Завтра, о Говинда, я расстанусь с тобой.

Долго еще оба друга ходили по роще, долго лежали они, не находя сна. И снова и снова Говинда умолял друга сказать ему, почему он не хочет обратиться к учению Гаутама, какой недостаток он находит в этом учении. Сиддхартха же на все просьбы отвечал словами:

– Успокойся, Говинда, учение Возвышенного превосходно, как могу я находить в нем недостатки?

Рано утром один из старейших монахов, последователей Будды, обходил парк, сзывая всех новопоступивших учеников, чтобы облачить их в желтые рясы и наставить в первых правилах и обязанностях их нового звания. Тогда Говинда сделал над собою усилие, еще раз обнял своего друга молодости и присоединился к шествию послушников.

Сиддхартха в глубокой задумчивости стал прохаживаться по роще. Тут навстречу ему попался Гаутама, и после почтительного приветствия,

ободренный взглядом Будды, полным доброты и кротости, юноша попросил у Возвышенного позволения говорить с ним. Безмолвным наклоном головы тот выразил согласие.

Тогда Сиддхартха сказал:

– Вчера, о Возвышенный, я имел счастье слушать твоё дивное учение. Вместе с моим другом я прибыл издалека, чтобы услышать его. И вот мой друг остается с твоими учениками, он принял твоё учение. Я же снова отправляюсь в странствие.

– Как тебе угодно, – учтиво заметил Возвышенный.

– Слишком смела моя речь, – продолжал Сиддхартха, – но мне не хотелось бы уходить от Возвышенного, не высказав перед ним с полной искренностью своих мыслей. Соболаговолит ли Достопочтенный уделить мне еще минуту внимания?

Будда молча кивнул головой в знак согласия.

– Одно, о Возвышенный, – продолжал Сиддхартха, – в особенности восхищает меня в твоём учении. Это его совершенная ясность и убедительность. Цельной, нигде и никогда не прерываемой цепью рисуешь ты мир, вечной цепью, сплетенной из причин и следствий. Никогда и никем эта мысль не была так ясно осознана, так бесспорно доказана. Поистине, сильнее должно забиться в груди сердце каждого брахмана, когда он, при свете твоего учения, увидит, что все в мире неразрывно связано между собой, что в нем нет пробелов, все ясно, как хрусталь, и ничто не зависит от случая, не зависит от произвола богов. Хорош ли этот мир или кет, есть ли жизнь в нем страдание или благо – это остается вопросом. Быть может, оно и несущественно. Но единство мира, взаимная связь всех явлений, одинаковая подчиненность всего, как великого, так и малого, одному и тому же закону причинности, возникновения и смерти – все это ярко выступает в твоём возвышенном учении, о Совершенный. Но это единство и естественная преемственность всех вещей, судя по твоему же учению, все же прерывается в одном месте. Через один маленький пробел в этот мир единства вторгается нечто чуждое и новое, чего раньше не было и чего нельзя ни показать наглядно, ни доказать словами – это именно твоё учение о преодолении мира, об искуплении. Однако благодаря этому маленькому пробелу, этому маленькому прорыву, этот вечный, проникнутый единством мировой закон разбивается и теряет силу. Прости, что я высказываю это возражение.

Тихо и бесстрастно выслушал его Гаутама, Своим кротким, благожелательным и ясным голосом ответил ему Совершенный:

– Ты слушал учение, о сын брахмана, и благо тебе, что ты так глубоко

вникал в него. Ты нашел в нем пробел, ошибку. Продолжай и дальше вдумываться в него. Но избегай, любознательный, дебрей мнений и споров из-за слов. Не в мнениях дело, каковы бы они ни были – прекрасны или безобразны, умны или нелепы, каждый волен соглашаться с ними или отвергать их. Но учение, которое ты слышал от меня, не мнение, и не в том его цепь, чтобы объяснить мир для людей любознательных. Его цель иная – искупление, избавление от страданий. Бот чему учит Гаутама – и ничему иному.

Да не прогневается на меня Возвышенный, – сказал юноша. – Не затем, чтобы спорить, препираться из-за слов, я позволил себе так говорить с тобой. Воистину, ты прав, не во мнениях дело. Но позволь мне заметить еще одно: ни на одно мгновение я не усомнился в тебе. Ни на одно мгновение не возникало во мне сомнение в том, что ты Будда, что ты достиг той высшей цели, к какой стремятся столько тысяч брахманов к сыновей брахманов. Ты нашел спасение от смерти. Ты достиг этого собственными исканиями, собственным, тобой самим пройденным путем – размышлением, самоуглублением, познаванием, просветлением. Но не принятием какого-нибудь чужого учения. И моя мысль, о Возвышенный, такова – никому не достичь спасения благодаря какому бы то ни было учению. Никому, о Достопочтенный, не сумеешь ты передать и высказать словами и поучениями, что испытал ты в час просветления. Многие содержат в себе учение просвещенного Будды, многих оно научит жить по правде, избегать зла. Но одного нет в этом столь ясном, столь высоком учении – в нем не раскрыта тайна того, что Возвышенный пережил сам, он один среди сотен тысяч. Вот что думалось и выяснилось мне, когда я слушал тебя. И вот причина, почему я снова пускаюсь в странствие. Не затем, чтобы искать другого, лучшего учения – такого, я знаю, нет, – а затем, чтобы порвать со всеми вообще учениями и учителями, и одному либо достигнуть своей цели, либо погибнуть. Но часто буду я вспоминать, о Возвышенный, тот день и час, когда мои очи зрели святого.

Глаза Будды смотрели в землю; тихим, совершеннейшим бесстрашием сияло его непроницаемое лицо.

– Пусть твои мысли, – медленно проговорил он, – не окажутся заблуждениями. Желаю тебе достигнуть своей цели. Но скажи мне: видал ли ты толпу моих саман, моих многочисленных братьев, прибегнувших к учению? И думаешь ли ты, чужой самана, что для них всех было бы лучше отказаться от этого учения и вернуться к мирской жизни с ее страстями?

– Далека от меня подобная мысль! – воскликнул Сиддхартха. – Пусть они все остаются верными учению, пусть достигают своей цели! Не

подобает мне судить других. Только для себя, для себя одного я должен составить свое суждение, должен избрать одно, отказаться от другого. Мы, саманы, ищем избавления от Я. Если бы я стал одним из твоих учеников, о Возвышенный, то, боюсь, мое Я только с виду успокоилось бы, нашло бы только призрачное искупление, в действительности же продолжало бы жить и даже выросло еще более, ибо тогда самое учение и моя приверженность к нему, моя любовь к тебе и общность монахов стали бы моим Я.

С полуулыбкой, с непоколебимой ясностью и приветливостью во взоре Гаутама взглянул юноше в глаза и попрощался с ним едва заметным движением.

– Ты умен, мой друг, – сказал Возвышенный, – и умно умеешь говорить! Остерегайся, однако, чрезмерного умствования.

И дальше проследовал Будда, но взгляд его и полуулыбка навсегда запечатлелись в памяти Сиддхартхи.

– Никогда, ни у одного человека я не видел такого взгляда, такой улыбки, – думал Сиддхартха, – никогда не видал я, чтобы кто-нибудь так сидел и ступал, как он. Желал бы и я быть в состоянии так глядеть и улыбаться, сидеть и ходить – так непринужденно и величаво, так сдержанно и открыто, так по-детски просто и таинственно. Поистине, так может смотреть, ступать только человек, проникший в сокровенную глубину своего Я. Ну, что ж – постараюсь и я достигнуть того же!

– Одного только человека видел я, – продолжал свои размышления Сиддхартха, – одного единственного, перед кота-рым я должен был опустить глаза. Ни перед кем больше я не стану опускать глаз! Ни одно учение уже не может соблазнить меня, раз я не поддался учению этого человека.

– Многое отнял у меня Будда, – думал Сиддхартха, – многого лишил он меня, но еще больше подарил мне. Он отнял у меня друга, человека, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Гаутамы. Но зато он подарил мне Сиддхартху, подарил меня самого...

ПРОБУЖДЕНИЕ

Покидая рощу, где пребывал Будда и где остался его друг, Сиддхартха почувствовал, что в этой же роще он оставил за собой и всю свою прежнюю жизнь, что он навсегда расстался с нею. И это ощущение так захватило его, что он ни о чем более не мог думать. Медленно продолжая свой путь, он старался разобраться в самом себе. Словно человек, нырнувший в глубокую воду, он спустился на самое дно этого ощущения, к его причинам, ибо в выяснении причин, – полагал он, – и состоит цель мышления; только путем такого выяснения ощущение становится познанием и не улетучивается, а приобретает сущность и начинает излучать тот свет, который в нем заключается.

Медленно продолжая свой путь, Сиддхартха предавался размышлениям. Прежде всего он установил, что уже перестал быть юношей, что он возмужал. Установил, что, подобно змее, сбрасывающей с себя старую кожу, освободился от того, что существовало в нем в течение всей его молодости – от желания иметь наставников и учиться у других. Последнего учителя, встреченного им на своем пути, даже его, величайшего и мудрейшего из учителей, святейшего Будду, он покинул: он должен был уйти от него, не мог принять его учения.

И, еще более замедляя свои шаги, погруженный в свои мысли, Сиддхартха спрашивал себя:

– Чему же, собственно, ты хотел научиться от учителей и из их учений, и чему именно, сколько тебя ни учили, они все-таки не сумели научить тебя?

И пришел к заключению:

– Познать Я, его смысл и сущность – вот чего я добивался. Я хотел отрешиться от этого Я, побороть его. Но не смог. Я мог только обманывать его, убегать от него, прятаться от него. Поистине, ничто в мире не занимало в такой степени мои мысли, как это мое Я, как та загадка, что я живу, что я представляю отдельное, обособленное от всех других существо, что я – Сиддхартха. И ни о чем другом в мире я не знаю так мало, как о себе – о Сиддхартхе.

Погруженный в размышления, медленно продвигающийся вперед странник остановился, пораженный этой мыслью, и тотчас же из последней выскочила новая мысль, следующая: «То, что я ничего не знаю о самом себе, что Сиддхартха остался для меня таким чуждым и неизвестным,

обусловлено одной только причиной: я боялся самого себя, я убегал от самого себя. Я искал Атмана, искал Брахму, я стремился разобрать свое Я по частям, очистить его от всех оболочек, чтобы отыскать в его неизведанной глубине ядро всех этих оболочек, – Атмана, жизнь, Божественное, первооснову. Но себя-то самого я при этом потерял...»

Сиддхартха поднял глаза и оглянулся кругом. Улыбка заиграла на его лице, и все его существо пронизало такое чувство, точно он пробудился от долгого сна. Он двинулся дальше, но теперь он шел бодрым скорым шагом, как человек, знающий, что ему нужно делать.

– О, – думал он, вздохнув с облегчением, – теперь я не дам больше Сиддхартхе ускользать от меня. Не стану больше посвящать все свои мысли и жизнь Атману и страданию мира. Не стану больше умерщвлять и разрушать себя, чтобы найти за развалинами какую-то тайну. Ни Йогаведа, ни Ат-харваведа или какое-либо другое учение не будет больше руководить мною. К самому себе я поступлю в учение, у самого себя я буду изучать тайну, именуемую Сиддхартхой.

Он стал оглядываться кругом, словно в первый раз увидел мир. Как прекрасен был этот мир, как разнообразен, как странен и загадочен был мир! Пестрели синие, желтые, зеленые краски, текли небо и река, поднимались лес и горы, – все было так прекрасно, загадочно и волшебное, а посреди всего этого великолепия – он, Сиддхартха, пробуждающийся, на пути к самому себе. И все это – все это желтое и голубое, лес и река – впервые лишь входило в Сиддхартху через глаза, – все это не было больше чарами Мара или покрывалом Майи, не было больше бессмысленной и случайной множественностью мира явлений, столь презренной в глазах глубоко мыслящего брахмана, который пренебрегает множественностью и ищет единства. Синее было синим, река была рекой, и хотя и в голубом, и в реке, и в Сиддхартхе пребывало в скрытом виде единое и божественное, но ведь в том именно и заключалось свойство и смысл божественного, чтобы здесь быть желтым или синим, там – небом или лесом, а тут Сиддхартхой. Смысл и сущность были не где-то вне вещей, а в них самих, во всем.

– До чего я был глух и туп! – думал Сиддхартха, быстро идя вперед. – Если кто-нибудь, читая рукопись, хочет доискаться ее смысла, то не станет же он презирать знаки и буквы и называть их обманом, случайностью, ничего не стоящей оболочкой. Нет, он будет разбирать и изучать их с любовью, букву за буквой. Я же, желавший прочесть книгу моего собственного существа, я ради какого-то заранее предположенного смысла смотрел с пренебрежением на знаки и буквы; я называл мир явлений призрачным, называл свой глаза, свой язык – случайными, лишенными

всякой ценности явлениями. Нет, теперь всему этому конец! Я проснулся. Я в самом деле проснулся. Я как будто сегодня только родился.

Но дойдя до этого пункта в своих размышлениях, Сиддхартха внезапно остановился, словно увидел под ногами змею.

Ибо внезапно ему стало ясно еще одно: раз он действительно как бы проснулся или родился вновь, то должен начинать жизнь сызнова, начинать ее с самого начала. Когда в это самое утро он покидал рощу Джетавану, рощу Возвышенного, уже наполовину проснувшийся, уже по пути к самому себе, то у него было намерение – и оно казалось ему таким естественным, само собой понятным – вернуться на родину к своему отцу. Но теперь, в ту самую минуту, когда он остановился, словно увидав на дороге змею, в нем проснулось и сознание: «Да ведь я уже не тот, чем был. Я уже не аскет, не жрец, не брахман. Что же я стану делать дома, у отца? Изучать священные книги? Приносить жертвы? Упражняться в самоуглублении? Да ведь с этим всем уже покончено, всего этого уже не будет на моем пути».

Словно окаменев, стоял Сиддхартха на одном месте. На миг сердце его остановилось; он почувствовал, как оно, словно маленькая птичка или зверек, похолодело и сжалось в груди, при мысли о том, до чего он одинок. В течение многих лет он жил без родины и не чувствовал этого. Теперь он почувствовал. Все тб. время, как бы он ни отрешался от самого себя, он оставался сыном своего отца, оставался брахманом, человеком высокого звания, ученым. Теперь же он был только Сиддхартхой, правда, проснувшимся, но ничем более. Он глубоко перевел дух и вздрогнул от холода. Никто не был так одинок, как он. Всякий человек благородного звания, всякий ремесленник принадлежал к своему сословию, находил у таких же, как он, благородных или ремесленников, убежище, делил их жизнь, говорил их языком. Не было такого брахмана, который бы не причислял себя к брахманам, не жил в их обществе, – не было такого аскета, который не нашел бы прибежища в среде саман. Даже наиболее уединившийся от людей лесной отшельник не бывает совершенно одинок; и он имеет общение с подобными ему, и он принадлежит к известному классу, заменяющему ему родину. Говинда стал мо нахом, и тысячи монахов стали его братьями; они носили такое же, как он, платье; имели такую же, как он, веру; говорили таким же, как он, языком. Но он, Сиддхартха, кому он близок? Чью жизнь будет он разделять? С кем у него общий язык?

Из этого мгновения, когда окружающий мир как бы растаял и отошел от него, когда он стоял одинокий, как звезда на небе, – из этого мига

душевного холода и упадка духа Сиддхартха вынырнул с резко выраженным, чем раньше, крепче сжавшимся Я. Это был последний – он чувствовал это – трепет пробуждения, последняя судорога рождения. Вслед за этим он снова двинулся в путь и зашагал быстро и нетерпеливо – но не домой, не к отцу, не к старой жизни...

Часть вторая

КАМАЛА

С каждым шагом на своем пути Сиддхартха узнавал что-нибудь новое – ибо мир принял теперь в его глазах совсем иной вид, и все в нем очаровывало его сердце. Он видел, как солнце вставало над покрытыми лесом горами и опускалось за пальмами отдаленного морского берега. Ночью он видел на небе стройное движение звезд и серповидный месяц, плывший, как ладья, по синеве неба. Видел деревья, звезды, животных, облака, радуги, скалы, травы, цветы, ручьи и реки, видел, как сверкала на кустах утренняя роса, как синели и белели отдаленные высокие горы. Птицы распевали, пчелы жужжали, ветер колыхал серебристые рисовые поля. Все это, со всем своим многообразием и пестротой, существовало всегда. И раньше светили солнце и луна, шумели реки и жужжали пчелы. Но раньше все это было для Сиддхартхи лишь мимолетным и обманчивым видением, мелькавшей перед его глазами завесой, на которую надо смотреть с недоверием, которая на то и существует, чтобы быть сорванной и уничтоженной мышлением, так как она не была сущностью, так как сущность пребывала по ту сторону доступного, зримого, видимого. Теперь же его раскрывшиеся глаза останавливались на всем, что лежало по эту сторону; они видели и познавали видимое, искали родины в этом мире, не искали сущности вещей, не стремились в потусторонний мир. И как прекрасен мир, когда глядишь на него таким образом – так просто, так по-детски, без всяких исканий! Прекрасны месяц и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и утесы, козы и золотые жуки, цветы и бабочки. Как славно, как чудесно ходить по свету, с детской ясностью и бодростью во взгляде, с душой, раскрытой для всего близкого, чуждой недоверия! Не так палило теперь солнце голову, иначе прохлаждала лесная тень, иной вкус имели вода в ручье и цистерне, бананы и дыни. Короткими казались дни и ночи; каждый час быстро мелькал, словно парус на море, а под парусом плыло судно, наполненное сокровищами, наполненное радостью. Сиддхартха видел целое племя обезьян, куда-то перебиравшееся под высоким сводом леса, по самым верхним ветвям, слышал их дикое похотливое пение. Сиддхартха видел, как баран преследует овцу и овладевает ею. Он видел, как в поросшем тростником озере охотится терзаемая вечерним голодом щука, как в страхе убегает от нее молодая рыба, выскакивая из воды, сверкая на воздухе чешуей. Силой и упорной страстью веяло от быстро расходившихся кругов, поднятых на воде стремительным преследованием

охотника. Все это всегда было, да он-то ничего не замечал – он был слишком далек от всего этого. Но теперь его интересовало все, что его окружало, он сам был частицей окружающего мира. Через его глаза проносились и свет, и тень, месяц и звезды проходили через его сердце.

Дорогой Сиддхартха припоминал все то, что пережил в саду Джетавана; ученье, которое он слышал там, божественного Будду, прощание с Говиндой, разговор с Возвышенным. Вспоминалось ему каждое слово, сказанное им Будде, и с изумлением он заметил, что высказывал тогда мысли, которых, в сущности, еще не признавал хорошенько. Ведь он сказал Гаутаме, что его, Будды, сокровище и тайна не в учении, а в том невыразимом и непередаваемом словами, что им когда-то пережито было в минуту просветления. Но ведь он затем именно и идет теперь в мир, чтобы пережить подобное же самому; да он уже и сейчас начал переживать это. Самого себя он должен теперь переживать. Правда, давно уже он знал, что его Я – есть Атман, что оно той же вечной субстанции, как и Брахма. Но никогда на самом деле он не находил этого Я, потому что хотел уловить его в сеть мысли. Если, бесспорно, не тело было этим Я, и не игра чувств, то им не были также ни мысль, ни ум, ни заимствованная от других мудрость, ни таким же путем приобретенное искусство выводить заключения, ткать из продуманного новые мысли. Нет, и мир мыслей принадлежит еще потустороннему, и нет никакой пользы убивать случайное «Я» чувств, чтобы взамен усиленно питать случайное «Я» мыслей и приобретаемого от других знания. И то, и другое – как мысли, так и чувства – прекрасные вещи, за которыми одинаково скрывается истинный смысл всего. И к тем, и к другим надо прислушиваться, играть ими, ничего в них не следует ни презирать, ни переоценивать, а во всем подслушивать звучащие в глубине тайные голоса. И он решил вперед стремиться лишь к тому, что внушал его внутренний голос, задерживаться там, где советовал его голос. Почему Гаутама когда-то, в тот великий час, сел именно под деревом Бо, где его осенило откровение? Потому что он услышал голос – в его собственном сердце раздался этот голос – повелевавший ему искать отдыха под этим деревом. И он не отдал предпочтения умерщвлению плоти, жертвоприношениям, омовениям или молитвам, не предпочел еду и питье, сон и грезы – он послушался голоса. Так именно повиноваться – не приказу жизни, а внутреннему голосу, быть всегда готовым идти на его призыв – вот что хорошо и необходимо; ничто иное не является необходимым.

Ночью, когда он спал в соломенной хижине, принадлежавшей перевозчику через реку, Сиддхартхе приснился сон: перед ним стоял

Говинда, в желтом одеянии аскета. Лицо Говинды было печально. Печально он спросил: «Зачем ты покинул меня?» Тогда он обнял Говинду, обхватил его руками, но когда он прижал его к груди и поцеловал, то почувствовал, что перед ним не Говинда, а женщина. Из платья этой женщины выставлялась наружу полная грудь, а он, Сиддхартха, лежал у этой груди и пил. Сладко и крепко было молоко из этой груди. От него исходили ароматы мужчины и женщины, солнца и леса, животных и цветов, аромат всевозможных плодов, всяческих наслаждений. Оно опьяняло, дурманило. Когда Сиддхартха проснулся, через дверь хижины видно было поблескивание бледной реки, а из лесу громко и звучно доносился призыв совы. Как только занялся день, Сиддхартха попросил хозяина-перевозчика переправить его на другой берег. Тот перевез его через реку на своем бамбуковом плоту.

Красным светом мерцала широкая река на утреннем солнце.

– Прекрасная река! – заметил Сиддхартха своему спутнику.

– Да, – сказал перевозчик, – это прекрасная река, я люблю ее больше всего. Часто я прислушиваюсь к ней, часто заглядываю ей в очи, и всякий раз чему-нибудь научаюсь от нее. Многому можно научиться у реки.

– Благодарю тебя, милостивец, – сказал Сиддхартха, выйдя на берег. – Мне нечем заплатить тебе за гостеприимство и переправу. Я бездомный скиталец. Я сын брахмана и самана.

– Я и сам догадался, кто ты, – сказал перевозчик, – и не ждал от тебя ни платы, ни иного вознаграждения. Ты оплатишь мне в другой раз.

– Ты думаешь? – весело спросил Сиддхартха.

– Уверен. Вот еще одно, что я узнал от реки: все возвращаются. И ты, самана, вернешься сюда. А теперь прощай. Да будет твоя дружба мне наградой. Вспоминай меня всегда, когда будешь приносить жертвы богам.

С улыбкой они попрощались друг с другом. С радостным чувством Сиддхартха думал о дружбе и приветливости пере возчика. «Он совсем как Говинда, – думал Сиддхартха, улыбаясь. Все, кого я ни встречаю на своем пути, похожи на Говинду. Все благодарны, хотя сами имеют право на благодарность. Все почтительны, все готовы стать друзьями, охотно повинуются и мало думают. Похожи на детей люди!»

Около полудня он пришел в какую-то деревню. На улице, у глиняных мазанок, возилась детвора. Они играли зернышками тыкв и раковинами, кричали и дрались, но при виде чужого саманы в испуге разбежались. В конце деревни дорогу пересекал ручей, а на берегу ручья стояла на коленях молодая женщина и стирала. Когда Сиддхартха приветствовал ее, она подняла голову и с улыбкой взглянула на него, причем он заметил, как

блеснули белки ее глаз. Он крикнул ей обычное приветствие странствующих монахов и спросил, как далеко еще до большого города. Тогда она поднялась с места и подошла к нему. Ее влажные губы красиво атели на молодом лице. Она стала обмениваться с ним шутками, спросила, поел ли он и правда ли, что саманы проводят ночи в лесу одни и не могут иметь при себе женщин. При этом она опустила свою левую ногу на его правую и сделал такое дви жение, какое делает женщина, приглашающая мужчину к любовному наслаждению. Сиддхартха почувствовал, как закипает в нем кровь, и так как в эту минуту ему вспомнился сон, то он смело наклонился к женщине и коснулся губами темного соска на ее груди. А когда он поднял глаза, то на ее улыбающемся лице прочел желание, а в сузившихся глазах страстную мольбу.

И Сиддхартхой овладел прилив вожделения. Но так как он ни разу еще не коснулся женщины, то с минуту помедлил, хотя руки его уже протягивались, чтобы охватить ее. И в эту-то минуту он с содроганием услышал внутренний голос, и голос этот сказал: «Нет». И тотчас же улыбающееся лицо молодой женщины утратило для него все свое очарование, и он увидел лишь влажный взор охваченной вожделением самки. Ласково потрепал он ее по щеке, повернулся и проворно скрылся из глаз разочарованной женщины в бамбуковой роще.

В тот же день, еще до наступления вечера, он добрался до большого города, чему был очень рад, так как теперь его тянуло в общество людей, уже много времени прожил он в лесах, и крытая соломой хижина перевозчика была первым за все это долгое время кровом, под которым он проводил ночь. Перед самым городом, у обнесенной красивой оградой рощи, путнику попалоcь навстречу маленькое шествие из нагруженных корзинами слуг и прислужниц. Среди них в разукрашенных носилках, несомых четырьмя слугами, сидела на красных подушках под пестрым паланкином женщина – их госпожа Сиддхартха остановился у входа в рощу и глядел на шествие – видел слуг, служанок, корзины, видел паланкин и сидевшую под ним женщину. Под высокой причес кой черных волос он увидел очень светлое, очень нежное, очень умное лицо, ярко-красный, как только что вскрытая смоква, рот, выхоленные и нарисованные дугой брови, темные глаза, умные и зоркие, светлую длинную шею, выступавшую из золотисто-зеленой верхней одежды, спокойно лежавшие светлые руки, длинные и узкие, с широкими золотыми обручами на сгибах.

Сиддхартха видел, как она прекрасна, и сердце его радо валось. Он низко поклонился, когда носилки приблизились к нему, и, снова выпрямившись, взглянул на светлое прелестное лицо, на миг заглянул в

умные, осененные высокой дугой бровей глаза, вдохнул в себя аромат неизвестных ему благовоний. С улыбкой ответила на его поклон прекрасная женщина, – еще миг, и она скрылась в роще, а вслед за нею скрылись и слуги.

Чудесное предзнаменование для моего вступления в этот город! – подумал Сиддхартха. Его потянуло войти тотчас же в рощу, но он сдержался. Только теперь дошло до его сознания, как глядели на него слуги и прислужницы при входе, сколько пренебрежения, недоверия и презрения было в их взглядах.

Ведь я пока еще самана, – думал он, – я все еще имею вид аскета и нищего. Не таким я должен оставаться, не в таком виде я могу вступить в рощу!

И он засмеялся.

Первого встреченного на дороге человека он расспросил о роще и о том, кто эта женщина, и узнал, что это загородный сад знаменитой куртизанки Камалы и что, кроме него, ей принадлежит еще дом в городе.

После этого Сиддхартха вступил в город. Теперь у него была цель.

Преследуя эту цель, он старался втянуться в городскую жизнь, смешивался с толпой на улицах, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру он подружился с одним подмастерьем цирюльника, которого впервые увидал за работой в тени лавки, а потом снова встретил молящимся в храме Вишну и которому он рассказывал историю про Вишну и Лакшми. Ночь он провел у лодок на берегу реки, а рано утром, прежде чем в лавку цирюльника явились первые клиенты, он дал подмастерью обрить ему бо-роду, постричь волосы, причесать и натереть их благовонной мазью. Потом пошел и выкупался в реке.

Когда вечером прекрасная Камала в носилках направлялась в свою рощу, Сиддхартха стоял уже у входа и на свой поклон снова получил кивок куртизанки. Вслед за этим он сделал знак одному из слуг, который шел последним в ее свите, и попросил его доложить своей госпоже, что с ней желает говорить молодой брахман. Через некоторое время слуга вернулся, предложил ожидавшемуся Сиддхартхе последовать за ним, и молча повел его в павильон, где лежала на диване Камала, после чего оставил их одних.

– Не ты ли это вчера стоял у входа и кланялся мне? – спросила Камала.

– Да, я уже вчера видел и приветствовал тебя.

– Но ты, кажется, вчера носил длинную бороду и волосы были покрыты пылью?

– Совершенно верно, ты очень наблюдательна: ты видела Сиддхартху, сына брахмана, который оставил свою родину, чтобы стать саманой и в

течение трех лет был таковым. Но теперь я оставил эту дорогу и пришел в этот город. И первым лицом, встреченным мной перед тем, как я вступил в город, была ты. И вот что я хотел сказать тебе, придя сюда, о Камала. Ты первая женщина, с которой Сиддхартха говорит не с опущенным взором. Никогда больше я не стану опускать глаза, когда встречу на пути прекрасную женщину.

Камала улыбнулась и стала играть веером из павлиньих перьев.

– И только для того, чтобы сказать мне это, пришел ко мне Сиддхартха? – спросила она.

– Чтобы сказать тебе это и чтобы поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если тебе благоугодно будет, то я попросил бы тебя, Камала, быть моей подругой и наставницей, ибо я еще совершенный невежда в том искусстве, которое ты знаешь в совершенстве.

При этих словах Камала громко расхохоталась.

– Вот уж не случилось со мной, чтобы пришел самана из лесу и захотел учиться у меня! Ни разу еще не бывало, чтобы ко мне явился самана с длинными волосами и со старой рваной повязкой вокруг чресел! Многие юноши приходят ко мне, бывают между ними и сыновья брахманов, но они являются в прекрасной одежде, в изящной обуви, с благоухающими волосами и с полными кошельками. Вот какого рода юноши посещают меня, о самана.

Сиддхартха же ответил:

– Вот я и получил от тебя первый урок. Да и вчера я уже кое-чему научился благодаря тебе. Я обрил бороду, причесался и умастил волосы. Мне, о прекрасная, недостает теперь только немногого – хорошей одежды и обуви да денег в кошельке. Знай же: более трудные задачи ставил себе Сиддхартха, а не такие безделицы, и справлялся с ними. Как же мне не достичь того, что я вчера поставил себе целью: стать твоим другом и узнать от тебя радости любви. Ты увидишь, какой я способный ученик, Камала – я научился более трудным вещам, чем то, чему должна научить меня ты. Итак, скажи, – Сиддхартха такой, как он есть – с умащенными волосами, но без платьев, без обуви и денег, тебя не удовлетворяет?

Со смехом воскликнула Камала:

– Нет, почтеннейший, этого мне мало, у него должны быть платья, прекрасные платья, прекрасная обувь, много денег в кошельке и подарки для Камалы. Теперь ты знаешь, самана из лесу. Ты запомнил это?

– Да, я запомнил это! – воскликнул Сиддхартха. – Как я могу не запомнить того, что сказано такими устами? Твои уста, как свежевскрытая смоква, Камала. И мои уста алы и свежи; они подойдут к твоим, увидишь.

Но скажи мне, прекрасная Камала, неужели ты совсем не боишься саманы, пришедшего из лесу, чтобы учиться любви?

– Почему же я должна бояться саманы, глупого саманы из лесу, который пришел от шакалов и еще совсем не знает, что такое женщина?

– О, он силен, этот самана, и ничего не боится. Он мог бы взять тебя силой, прекрасная девушка. Он мог бы похитить тебя, мог бы заставить тебя страдать!

– Нет, самана, этого я не боюсь. Разве стал бы какой-нибудь самана или брахман опасаться, что кто-нибудь может придти, схватить его и похитить у него его ученость, его благочестие, его глубокомыслие? Нет, ибо все это составляет его неотъемлемую собственность, из которой он уделяет лишь столько, сколько хочет и кому хочет. Точно так же с Камалой и радостями любви. Прекрасны и алы уста Камалы, но попробуй поцеловать их против воли Камалы – ни капли сладости не почувешь ты в поцелуе, который при иных условиях может быть таким сладким. Ты любознателен и способен, Сиддхартха – Узнай же и то: любовь можно вымолить, купить, получить как дар, найти на улице, но взять силой нельзя. Ты избрал бы ложный путь. Нет, было бы жаль, если бы такой красивый юноша, как ты, взялся за дело совсем не так, как следует.

Сиддхартха с улыбкой отвесил ей поклон.

– Ты права, Камала, было бы жаль. Очень даже жаль! Нет, ни одной капли сладости с твоих уст я не хочу лишиться, так же, как и ты должна изведать всю сладость моего поцелуя. Итак, решено: Сиддхартха вернется, когда у него будет все, чего ему пока не хватает – платье, обувь, деньги. Но скажи, прелестная Камала, не можешь ли ты дать мне еще один маленький совет?

– Совет? Отчего же? Отчего не дать совета бедному, невежественному самане, пришедшему из леса от шакалов?

– Посоветуй же, милая Камала: куда мне идти, чтобы как можно скорее найти те три вещи?

– Друг, это многие хотели бы знать. Ты должен делать то, чему научился, и требовать в уплату денег, платья и обуви. Иным путем бедному не добыть денег. Что же ты умеешь?

– Я умею размышлять. Умею ждать. Умею поститься.

– И больше ничего?

– Больше ничего. Впрочем, я еще умею сочинять стихи. Согласна ты дать мне за стихи поцелуй?

– Согласна, если твои стихи понравятся мне. Ну-ка скажи их!

И Сиддхартха, после краткого раздумья, произнес следующие стихи:

В тенистую рощу свою вошла прекрасная Камала.
У входа же в рощу стоял самана – юноша смуглый.
Низко, лотоса прекрасный завидев цветок,
Склонился последний, улыбкой его наградила Камала.
Чем жертвы богам приносить, самана юный подумал,
Приятней стократ поклоняться прекрасной Камале!

Громко захлопала Камала в ладоши, так что золотые браслеты зазвенели.

– Твои стихи прекрасны, смуглый самана. И, право же, я ничего не теряю, если заплачу тебе за них поцелуем.

Она взглядом привлекла к себе; он же, склонив свое лицо к ее лицу, прижался губами к ее устам, походившим на свежевскрытую смокву. Долго длился поцелуй Камалы, и с глубоким изумлением почувствовал Сиддхартха, как умно она учит его, как ловко управляет им, то отталкивая, то привлекая, и что за этим первым поцелуем имеется еще длинный ряд других, один непохожий на другой, искусно рассчитанных и испробованных поцелуев, которые ему еще предстоит изведать. Он глубоко перевел дух, изумляясь, как дитя, той массе знания, достойного изучения, которая раскрывалась перед ним.

– Твои стихи великолепны! – воскликнула Камала. – Будь я богата, я бы наградила тебя за них золотыми монетами. Но трудно тебе будет зарабатывать стихами столько денег, сколько тебе надо будет. А тебе понадобится много денег, если ты хочешь стать другом Камалы.

– Как ты умеешь целовать, Камала! – пробормотал Сиддхартха.

– Да, это-то я умею. Оттого у меня и нет недостатка в платьях, обуви, браслетах и всяких прекрасных вещах. Но что будет с тобой? Неужели ты только и умеешь, что размышлять, поститься и сочинять стихи?

– Я умею также петь песни при жертвоприношениях, – сказал Сиддхартха, – но я не хочу больше петь их. Я знаю и волшебные заклинания, но не хочу больше произносить их. Я читал священные книги.

– Стой! -прервала его Камала. – Ты умеешь читать? А писать?

– Конечно, умею. Многие это умеют.

– Большинство этого не умеет. И я не умею. Это очень хорошо, что ты умеешь читать и писать. Очень хорошо. И волшебные заклинания еще могут пригодиться тебе.

В эту минуту прибежала прислужница и что-то шепнула на ухо своей госпоже.

– Ко мне сейчас придут! – воскликнула Камала. – уходи поскорей, Сиддхартха, никто не должен тебя видеть здесь – заметь себе это. Завтра мы свидимся снова.

Прислужнице же она приказала дать благочестивому брахману белый плащ. Не отдавая себе отчета, как это случилось, Сиддхартха дал увести себя девушке, которая привела его окольными путями в садовую беседку, вручила ему верхнее платье и вывела в кустарник, с настоятельным напоминанием сейчас же выбраться из рощи.

Он охотно исполнил приказание. Привычный к лесу, он бесшумно выбрался из рощи и перелез через ограду. С довольным видом вернулся он в город, неся под мышкой свернутое платье. В заезжем доме, где останавливались приезжие, он встал у дверей, молча прося накормить его, и молча принял кусок рисового пирога. Быть может, завтра уже – думал он, – я ни у кого не буду просить подаяния.

Внезапно в нем вспыхнула гордость. Он уже не был саманой, и потому не подобало ему более просить милостыню. Он отдал пирог собаке и остался без пищи.

– Как проста жизнь, которую ведут в мире! – подумал Сиддхартха. – Она не представляет никаких затруднений. Все было трудно, тяжело и, в конце концов, безнадежно, пока я еще был саманой. Теперь же все легко, так же легко, как урок поцелуев, полученный мной от Камалы. Мне нужно добыть платье и денег, больше ничего. Это маленькая близкая цель, она не может лишать меня сна.

Он уже и раньше расспросил о городском доме Камалы и на другой день пошел к ней туда.

– Дела идут отлично, – воскликнула она ему навстречу. – Тебя ждут у Камасвами – это богатейший купец в нашем городе. Если ты понравишься ему, он возьмет тебя к себе на службу. Будь умен, смуглый самана. Я устроила так, что о тебе рассказали ему другие. Будь любезен с ним, он обладает большим влиянием. Мо и не скромничай слишком. Я не хочу, чтобы ты стал его слугой, ты должен быть с ним на равной ноге, иначе я не буду довольна тобой. Камасвами начинает стариться и хотел бы отдохнуть. Если ты придешься ему по нраву, он сделает тебя доверенным лицом.

Сиддхартха весело поблагодарил ее. Узнав, что он уже второй день ничего не ел, Камала приказала принести хлеба и плодов и угостила его.

– Тебе везет, – сказала она на прощанье, – перед тобой раскрываются одна дверь за другой. Чем это объяснить? Ты обладаешь какими-нибудь чарами?

На что Сиддхартха ответил:

– Вчера я говорил тебе, что умею мыслить, ждать и поститься, а ты находила, что такие знания не могут приносить никакой пользы. А между тем они очень даже могут пригодиться, Камала, ты увидишь это. Ты увидишь, что глупые лесные саманы изучают и умеют делать много прекрасных вещей, чего вы не умеете. Третьего дня я был еще растрепанным нищим, вчера я уже целовал Камалу, а скоро я стану купцом и буду обладать деньгами и всеми теми вещами, которым ты придаешь цену.

Так-то оно так, – согласилась она. – Но что было бы с тобой без меня? Чем был бы ты, если бы Камала тебе не помогла?

Милая Камала! – сказал Сиддхартха, выпрямляясь во весь рост, – когда я пришел к тебе, в твою рощу, я сделал первый шаг. Я принял тогда твердое намерение научиться любви у прекраснейшей из женщин. А с той самой минуты, как я возымел это намерение, я знал, что сумею его выполнить. Я знал, что ты мне поможешь – знал уже с твоего первого взгляда у входа в рощу.

– А если бы я не захотела?

– Но ты захотела. Смотри, Камала: если ты бросаешь камень в воду, то он быстро, кратчайшим путем, идет ко дну. Так же точно поступает Сиддхартха, когда он ставит себе какую-нибудь цель. Сиддхартха ничего не делает, он только ждет, мыслит, постится, но он проходит через существующее в мире, как камень через воду, ничего не делая для этого, не шевельнув пальцем. Он отдает себя влекущей его силе, он дает себе упасть. Его цель сама по себе уже влечет его, ибо он не допускает в свою душу ничего, что противодействовало бы этой цели. Вот чему Сиддхартха научился у саман! Глупцы называют это чарами и воображают, что эти чары приобретаются с помощью демонов. Но демоны тут ни при чем, да никаких демонов и нет. Всякий может колдовать, всякий может достигать своих целей, если он умеет мыслить, ждать и поститься.

Камала внимательно слушала его. Ей нравился его голос, нравился его взгляд.

– Может быть, оно так и есть, как ты говоришь, мой друг, – тихо проговорила она. – А может быть все дело в том, что Сиддхартха красивый мужчина, что его взгляд нравится женщинам и поэтому счастье идет ему навстречу.

Сиддхартха попрощался с ней поцелуем.

– Пусть будет так, моя наставница! Хотел бы я, чтобы взор мой всегда нравился тебе, чтобы ты всегда приносила мне счастье!

У ЛЮДЕЙ-ДЕТЕЙ

Сиддхартха отправился к купцу Камасвами, в указанный ему богатый дом. Через ряд комнат, украшенных драгоценными коврами, слуги проводили его в покой, где он должен был дожидаться хозяина.

Вошел Камасвами. Это был подвижный, гибкий человек, с сильно поседевшими волосами, с очень умным, осторожным взглядом, с чувственным ртом. Хозяин и гость обменялись дружелюбными поклонами.

– Мне говорили, – начал купец, – что ты брахман, ученый, но желаешь поступить на службу к купцу. Ты, верно, впал в нужду, брахман, если ищешь службы?

– Нет, – сказал Сиддхартха, – я не впал в нужду и никогда нужды не знал. Знай, что я пришел от саман, с которыми прожил долгое время.

– Если ты приходишь от саман, как же тебе не быть в нужде? Ведь саманы – люди совершенно неимущие.

– У меня действительно нет никакого имущества, если ты это имеешь в виду, – сказал Сиддхартха. – Конечно, я человек неимущий, но я неимущий по своей воле, и, следовательно, в нужде не нахожусь.

– Чем же ты рассчитываешь жить, если у тебя ничего нет?

– Об этом я никогда еще не думал, господин. Я более трех лет оставался неимущим и никогда не думал о том, чем буду жить.

– Так ты жил на средства других.

– Пожалуй. Ведь и купец живет на чужое добро.

– Отлично сказано. Однако он берет у других их добро не даром – он дает им взамен свои товары.

– Так оно, по-видимому, и есть. Каждый берет, и каждый дает – такова жизнь.

– Позволь, однако: раз у тебя ничего нет, что же ты можешь дать?

– Каждый дает то, что у него есть. Воин дает свою силу; купец – свой товар; учитель дает свои знания; крестьянин – рис; рыбак – рыбу.

– Очень хорошо! А ты что можешь дать? Чему ты научился, что ты умеешь?

– Я умею мыслить, умею ждать, умею поститься.

– Это все?

– Кажется, все.

– А какая от этого польза? Умение поститься, например – к чему оно?

– Оно может приносить большую пользу, господин. Если человеку

нечего есть, то самое разумное, что он может делать – это поститься. Если бы, например, Сиддхартха не научился поститься, то он должен был бы сегодня же взять какую-нибудь службу – у тебя ли, у другого ли: он был бы вынужден к этому голодом. Теперь же Сиддхартха может спокойно выжидать; ему чуждо нетерпение, для него нет крайней необходимости. Он долго может выдерживать голод, да еще смеяться при этом. Вот какая польза, господин, от умения поститься.

– Ты прав, самана. Подожди минутку.

Камасвами вышел и вернулся со свитком, который протянул гостю со словами:

– Можешь ты это прочитать?

Сиддхартха заглянул в свиток, на котором написан был торговый договор, и начал читать вслух написанное.

– Превосходно! – сказал Камасвами. – Не напишешь ли мне чего-нибудь на этом листке?

Он дал ему листок и заостренную палочку для письма, Сиддхартха что-то написал на листке и вернул его хозяину.

Камасвами прочел: «Писать – хорошо, мыслить – лучше. Ум хорош, терпение лучше».

– Отлично написано, – похвалил купец. – Нам о многом надо будет переговорить. А пока прошу тебя быть моим гостем и поселиться в моем доме.

Сиддхартха поблагодарил и принял приглашение. С тех пор он жил в доме купца. Ему принесли хорошее платье и обувь, ежедневно слуга приготавливал ему ванну. Дважды в день его приглашали к обильной трапезе, но ел он только раз в день, причем не употреблял мяса и не пил вина. Камасвами рассказывал ему о своих делах, показывал свои склады и разные товары, посвящал в свои расчеты. Много нового узнавал Сиддхартха, – он много слушал и говорил мало. И, помня совет Камалы, никогда не держал себя с купцом, как подчиненный, и вынуждал его обращаться с ним, как с равным, даже более чем с равным. Камасвами занимался своими делами с усердием, часто даже со страстным увлечением. Сиддхартха же смотрел на дела, как на игру, старался как можно лучше изучить ее правила, но к самой игре оставался совершенно равнодушен.

В скором времени Сиддхартха стал и сам помогать хозяину в его торговле. Но ежедневно, в назначенный ею час, он посещал прекрасную Камалу, хорошо одетый и обутый, а скоро стал носить ей и подарки. Многому научили его ее алые умные уста. Многое поведала ему ее нежная,

гибкая рука. Еще новичок в любви, склонный слепо и ненасытно ринуться в наслаждение, как в бездонную бездну, он основательно благодаря ей усвоил правило, что нельзя получать наслаждение, не давая его самому, что каждый жест, каждая ласка, каждое прикосновение и взгляд, даже малейшее местечко на теле, имеют свою тайну, пробуждение которой составляет сведущему особое счастье. Она научила его, что любленные после празднества любви не должны расходиться без проявлений своего обоюдного восторга, что каждый должен иметь в такой же степени вид побежденного, как и победителя, так чтобы ни у кого не могло возникнуть чувство пресыщения и пустоты или неприятное ощущение, что он злоупотреблял податливостью другого или сам был слишком податлив. Дивные часы проводил он у прекрасной и умной Камалы. Он стал ее учеником, ее возлюбленным, ее другом. В ней, в Камале, и была вся ценность и смысл его теперешней жизни, а не в торговых делах Камасвами.

Последний поручил Сиддхартхе писание важных писем и составление договоров и постепенно привык к тому, чтобы обсуждать вместе с ним все важные дела. Он скоро заметил, что хотя Сиддхартха мало смыслит в рисе и шерсти, в мореплавании и торговле, но зато у него счастливая рука и он превосходит его, купца, спокойствием и уравновешенностью, а также искусством слушать и распознавать людей. «Этот брахман, – сказал он однажды одному из своих друзей, – не настоящий купец и никогда им не будет, он не в состоянии увлечься делами. Но он принадлежит к числу тех людей, которые владеют тайной успеха – оттого ли, что родился под счастливой звездой, оттого ли, что он обладает какими-то чарами. А может быть, этой тайне он научился у саман. Для него дела – точно игра. Они не овладевают им целиком, не подчиняют его себе. Он никогда не боится неудачи, не огорчается потерей».

Друг посоветовал купцу: «Дай ему в делах, которые он ведет для тебя, долю. Пусть получает третью часть барыша, но пусть в такой же степени участвует и в убытках, если таковые будут. Тогда он иначе будет относиться к делам».

Камасвами последовал этому совету. Но Сиддхартха оставался беззаботным по-прежнему. Если получался барыш, он равнодушно принимал его; если же терпел убыток, то смеялся и говорил: «Вот как! Это дело, значит, не выгорело».

Казалось, в самом деле, что он относится к делам совершенно безразлично. Однажды он поехал в одну деревню, чтобы закупить урожай риса. Но когда он приехал, то оказалось, что рис уже продан другому торговцу. Тем не менее Сиддхартха остался на несколько дней в этой

деревне, угощал крестьян, наделял детей медными монетами, побывал на одной свадьбе и вернулся домой, весьма довольный поездкой. Камасвами стал упрекать его, что он не вернулся тотчас же и напрасно потратил время и деньги. Но Сиддхартха заметил на это: «Перестань ругать меня, милый друг. Руганью никогда ничего не достигалось. Если я причинил тебе убыток, то беру его на себя. Но я-то очень доволен поездкой. Я познакомился с самыми различными людьми, подружился с одним брахманом; дети ездили верхом на моих коленях, крестьяне показывали мне свои поля, никто не принимал меня за торговца».

– Все это прекрасно! -воскликнул в сердцах Камасвами. – Но ведь на самом-то деле ты торговец и есть. Или ты поехал только для своего удовольствия?

– Конечно, – засмеялся Сиддхартха, – конечно, я поехал для своего удовольствия. А то для чего же? Я познакомился с новыми людьми и местами, наслаждался оказываемым мне расположением и доверием, приобрел друга. Посуди сам, милый. Будь на моем месте Камасвами, то узнав, что покупка не может состояться, он тотчас же с досадой поспешил бы домой, и тогда деньги и время действительно были бы потеряны даром. Я же провел несколько приятных дней, кое-чему поучился и ни себе, ни другому не повредил раздражением и поспешностью. А если когда-нибудь я снова поеду туда – для закупки ли новой жатвы или для другой какой-нибудь цели, – то приветливые люди встретят меня приветливо и весело, и я буду радоваться тому, что в тот раз не выказал досады и не поспешил уехать. И потому успокойся, друг, и не порть себе крови упреками. Если наступит день, когда ты убедишься, что Сиддхартха тебе приносит вред, то скажи лишь слово, и Сиддхартха уйдет. А пока – будем довольны друг другом!

Столь же напрасны были попытки купца убедить Сиддхартху, что последний ест его, Камасвами, хлеб. Сиддхартха возражал, что он ест свой собственный хлеб – вернее, что оба они едят хлеб других людей, хлеб, принадлежащий всем. Никогда Сиддхартха не выказывал сочувствия заботам Камасвами. А у последнего забот была тьма. Если какому-нибудь затеянному им делу грозила неудача, если возникали опасения, что отправленный товар пропал в дороге или что какой-нибудь должник окажется несостоятельным – Камасвами никогда не удавалось убедить своего сотрудника, что он поможет горю, если громко будет выражать свое огорчение или гнев, ходить с нахмуренным лбом, плохо спать по ночам. Когда однажды Камасвами поставил ему на вид, что он научился делу у него, Сиддхартха ответил:

– Ты шутишь, и очень неудачно! От тебя я узнал, сколько стоит корзина с рыбой и сколько процентов можно потребовать за данные займы деньги. Вот и вся твоя наука! Мыслить я научился не у тебя, дорогой Камасвами, ты бы лучше постарался научиться этому у меня.

Несомненно, душа Сиддхартхи не лежала к торговле. Он занимался делами лишь потому, что они доставляли ему деньги для Камалы. Они давали даже гораздо больше, чем ему требовалось. Вообще же его интерес возбуждали лишь те люди, чьи дела, занятия, заботы, увеселения и заблуждения были раньше чужды ему и далеки, как месяц на небе. Как ни умел он разговаривать и сходить с людьми, узнавать от них новое, все же он ясно сознавал, что есть нечто, отделяющее его от других, и это нечто – его саманство. Он видел, какую ребяческую или чисто животную жизнь ведут люди, которых он в одно и то же время любил и презирал. Он видел, как они хлопчут, страдают и сидят из-за вещей, которые, на его взгляд, совсем не стоили этого – из-за денег, маленьких удовольствий, мелких почестей. Он видел, как они упрекают и поносят друг друга, как они стонут от боли, которую самана переносит с улыбкой, как страдают от лишений, которых самана и не чувствует.

Ко всем он относился одинаково приветливо. Одинаково равнодушно принимал он торговца, предлагавшего ему в продажу полотно, должника, просившего о новом займе, нищего, который добрый час рассказывал ему историю своей бедности, хотя и наполовину не был так беден, как любой самана. С богатым чужестранным купцом он держал себя так же, как со слугой, который брил его, и уличным торговцем, которому он позволял надувать себя на какую-нибудь мелочь при покупке бананов. Когда Камасвами приходил к нему с сетованиями на свои печали или упреками по поводу его способа ведения дел, то он весело и с интересом выслушивал его, удивляясь и стараясь понять его, отчасти соглашался с ним, ровно настолько, сколько считал необходимым, и отворачивался от него, чтобы перейти к очередному нуждавшемуся в нем посетителю. А к нему приходили многие – одни по торговым делам, другие, чтобы надуть его или что-нибудь выведать от него, третьи старались вызвать его жалость, четвертые обращались к нему за советом. И он давал советы, проявлял свою жалость, дарил, давал немного надувать себя; и вся эта игра, и страстность, с которой все люди предаются этой игре, занимали его мысли в такой же степени, как раньше их занимали боги и учение брахманов.

По временам в своей груди он слышал голос – слабый, умирающий, звучащий жалобой и упреком, но так тихо-тихо, что он едва мог расслышать его. Тогда на короткое время у него являлось сознание, что он

ведет странную жизнь, что все то, что он делает, пустая игра, и хотя он чувствует себя недурно, весел, а подчас даже испытывает радость, но настоящая жизнь, в сущности, проходит мимо и его не задевает. Как жонглер играет мячами, так он играл своими делами, окружающими людьми; он глядел на них, развлекался ими; но сердцем, тем, что составляло источник его существования, он не был при всем этом. Этот источник протекал где-то далеко и невидимо для него, уходил все дальше, ничего общего не имел больше с его жизнью. Несколько раз эти мысли наводили на него ужас, и у него являлось сожаление, что и он не может участвовать во всех этих ребяческих мелочах жизни сердцем, относиться к ним со страстным увлечением, у него являлось желание жить, работать, наслаждаться этой жизнью на самом деле, а не оставаться в ней простым зрителем.

Но каковы бы ни были его настроения, он всегда возвращался к прекрасной Камале, изучал искусство любви, предавался культу наслаждения, при котором более чем при чем бы то ни было, давать и получать становится неотделимым друг от друга; болтал с ней, учился у нее, давал ей и получал от нее советы. Она понимала его лучше, чем когда-то понимал его Говинда – у них было больше общего.

Однажды он заметил ей:

– Ты похожа на меня, ты не такова, как большинство людей. Ты – Камала, и только! – у тебя, как и у меня внутри имеется тихое убежище, куда ты можешь уйти в любой час и чувствовать себя дома. Немногие лишь имеют это прибежище, а могли бы иметь все.

– Не все люди обладают умом, – сказала Камала.

– Нет, – возразил Сиддхартха, – не в уме тут дело. Ка-масвами так же умен, как я, и все же не имеет в самом себе этого прибежища. А иные, по уму совсем дети, имеют его. Большинство людей, Камала, похожи на падающие листья; они носятся в воздухе, кружатся, но в конце концов падают на землю. Другие же – немного их – словно звезды; они движутся по определенному пути, никакой ветер не заставит их свернуть с него; в себе самих они носят свой закон и свой путь. Из всех многочисленных ученых и саман, каких я знал, только один был из числа таких людей, один был Совершенный. Я никогда не забуду его. Это был Гаутама, Возвышенный, провозвестник известного тебе учения. Тысячи учеников слушают ежедневно его учение, следуют ежечасно его предписаниям, но все они словно листья падающие; они не носят в самих себе это учение и закон.

Камала взглянула на него с улыбкой.

– Опять ты говоришь о нем, – заметила она, – опять у тебя мысли саманы.

Сиддхартха замолк, и они предались любовной игре – одной из тех тридцати или сорока игр, которые знала Камала. Тело ее было гибко, как тело ягуара, как лук охотника. Тому, кто учился любви у нее, раскрывались многие наслаждения, многие тайны. Долго играла она с Сиддхартхой, то привлекая, то отталкивая его, то беря его силою, обволакивая его целиком и наслаждаясь его мастерством, пока он не почувствовал себя побежденным и не почил в изнеможении рядом с нею.

Гетера склонилась над ним, долго глядела на его лицо, в его утомленные глаза.

– Ты лучший из влюбленных, каких я когда-либо видела, – заметила она задумчиво. – Ты сильнее других, гибче, податливее. Ты хорошо изучил мое искусство, Сиддхартха. Со временем, когда я буду постарше, я хочу иметь от тебя ребенка. И все же, милый, ты остался саманой. Все же ты не любишь меня, ты никого не любишь. Разве не так?

– Может быть, – устало ответил Сиддхартха. – Я – как ты. И ты ведь не любишь – иначе, как могла бы ты предаваться любви как искусству? Люди, подобные нам, вероятно, и не способны любить. А люди-дети способны: это их тайна.

САНСАРА

Долгое время Сиддхартха вел мирскую, полную наслаждений жизнь, не отдаваясь ей, однако, всецело. Его плоть, по давленная в годы пламенного аскетизма, проснулась; он изведаль богатство, изведаль сладострастье, изведаль власть. Но все же, в течение долгого времени, он оставался в душе саманой, – как верно заметила умная Камала. И теперь еще искусства мыслить, ждать и поститься играли руководящую роль в его жизни, и теперь еще люди, жившие в миру, люди-дети, оставались ему чуждыми, как он был чужд им.

Годы мчались; окутанный привольной жизнью, Сиддхартха едва замечал, как они уходили. Он разбогател, у него давно уже был собственный дом, слуги, парк за городом у реки. Люди любили его; они приходили к нему, когда им нужны были деньги или совет; но никто не был близок к нему, кроме Камалы.

То высокое светлое чувство пробуждения и напряженного ожидания, которое он испытал когда-то, в расцвете молодости, в дни, последовавшие за проповедью Гаутамы и разлукой с Говиндой, его тогдашнее гордое одиночество и независимость от всяких учений и учителей, его чуткость к божественному голосу в собственном сердце – все это оказалось преходящим и мало-помалу отходило в область воспоминаний. Далеко и чуть слышно шумел теперь священный родник, когда-то столь близкий, когда-то шумевший в нем самом. Правда, многое из того, чему он научился от саман, от Гаутамы, что он усвоил от своего отца-брахмана, еще долгое время сохранялось в нем: он сохранил свою умеренность, свою любовь к мышлению, часы самопогружения, тайное знание о себе, о вечном Я, которое не есть ни тело, ни сознание. Многие из всего этого осталось в нем, но одно за другим опускалось в глубину и покрывалось пылью. Подобно тому, как гончарный круг, раз приведенный в движение, долго со храняет сообщенную ему скорость и только медленно, понемногу, замедляет свое вращение, пока не остановится совсем, так и в душе Сиддхартхи долго продолжало вертеться колесо аскетизма, колесо мышления, колесо распознавания. Оно и теперь еще вертелось, но медленно, с колебаниями и – того и гляди – должно было остановиться совсем. Подобно тому, как проникает сырость в умирающий древесный пень, медленно заполняя его и вызывая гниение, так мирское и лень понемногу проникали в душу Сиддхартхи, понемногу наполняя ее, вызывая чувства тяжести и усталости,

усыпляли ее. Зато желания в нем пробудились, и в этом отношении он многому научился, многое испытал. Сиддхартха научился торговать, пользоваться властью над людьми, искать наслаждения у женщин. Он научился носить прекрасное платье, приказывать слугам, купаться в благовонной воде. Научился кушать тонкие и хорошо приготовленные блюда, – в том числе рыбу, мясо животных и птиц, пряности и сладости, и пить вино, порождающее лень и забвение. Научился играть в кости и в шахматы, смотреть на пляски танцовщиц, пользоваться носилками, спать в мягкой постели. Но при всем том он все еще чувствовал себя отличным от других людей, стоящим выше их; все еще глядел на них с легкой насмешкой, с некоторым презрением, тем самым презрением, какое аскет-самана всегда питает по отношению к мирянам. Когда Камасвами бывал нездоров и раздражителен, когда он чувствовал себя кем-то обиженным, когда ему досаждали деловые заботы, Сиддхартха всегда относился к этому с насмешкой. Но медленно и незаметно, по мере того, как сменялись и уходили периоды дождей и жатвы, его насмешка становилась бледнее, а чувство превосходства слабее. Понемногу, среди своего возрастающего богатства, Сиддхартха сам усвоил некоторые черты, присущие людям-детям. И все же он завидовал им, завидовал тем сильнее, чем более сам начинал походить на них. Он завидовал им в одном – в той важности, какую они приписывали всем своим переживаниям, в страстности их радостей и тревог, в робком, но сладком счастье их вечной влюбленности. В себя ли самих, в женщин или в своих детей, в почести или в деньги, в планы или надежды, – но влюблены эти люди бывали всегда. Но как раз того он не перенял у них – именно этому, их детской жизни, радостности и детскому безрассудству он не научился, а перенял как раз те неприятные черты, которые презирал в них. Все чаще случалось, что на другое утро после проведенного в обществе вечера он долго оставался в постели, чувствуя какую-то подавленность и усталость. Случалось, что он раздражался и выказывал нетерпение, когда Камасвами надоедал ему своими вечными опасениями. Случалось, что он смеялся слишком громко, когда ему не везло в игре в кости. Его лицо было все еще более умным и одухотворенным, чем у других людей, но улыбка на нем появлялась реже, и мало-помалу на нем запечатлевалось выражение, какое так часто встречаешь на лицах богатых людей – выражение недовольства, болезненности, брюзгливости, вялости, бессердечия. Понемногу душевная болезнь богачей овладела и Сиддхартхой.

Как тонкая фата, как легкий туман, спускалась усталость на Сиддхартху – понемногу, но с каждым днем становясь немного гуще, с

каждым месяцем немного мрачнее, с каждым годом немного тяжелее. Подобно тому, как новое платье с течением времени теряет свой красивый цвет, покрывается пятнами, расползается на швах, а здесь и там ткань протирается и готова порваться, так и новая жизнь, которая началась для Сиддхартхи после разлуки с Говиндой, с годами потеряла цвет и блеск, так и на ней накопились пятна и складки, и, пока еще скрытые в глубине, но здесь и там уже безобразно проглядывая наружу, подстерегали его разочарование и отвращение. Сиддхартха этого не замечал. Он заметил только, что тот ясный и уверенный внутренний голос, который когда-то проснулся в нем и всегда руководил им в блестящий период его жизни, теперь что-то замолк.

Мир заполнил его – наслаждение, чувственность, лень, а под конец и тот порок, который он всегда считал самым нелепым и к которому относился с наибольшим презрением и насмешкой – алчность. В конце концов, и собственность, обладание, богатство также заполнили его – все это перестало быть для него игрой, мелочами, стало цепями и бременем. Станным и коварным путем Сиддхартха попал в эту последнюю и гнуснейшую зависимость – благодаря игре в кости. С тех пор, как Сиддхартха перестал в душе быть саманой, игра на деньги и драгоценности, которой он раньше предавался с улыбкой и небрежно, как одному из принятых у людей-детей развлечений, мало-помалу стала для него настоящей страстью, захватывавшей его все сильнее. Он стал отчаянным игроком, с которым лишь немногие решались вступать в состязание – так велики и безрассудны были его ставки. Он играл как человек, желающий заглушить муку своего сердца – проигрыши и швыряние презренными деньгами доставляли ему какую-то злобную радость. Сам себя ненавидя, сам над собой насмехаясь, он рисковал огромными ставками, безжалостно обыгрывал других и сам проигрывал огромные суммы, проигрывал деньги, драгоценности, проиграл загородный дом, снова выиграл его, снова проиграл. Это тревожное, сжимающее грудь чувство, которое он испытывал в момент бросания костей, при крупной игре, было ему дорого – он любил его, старался снова и снова вызвать его в себе, усилить, разжечь еще сильнее, ибо только в этих ощущениях он находил еще своего рода счастье, какое-то опьянение, какое-то повышенное самочувствие среди своей сытой, бесцветной, тусклой жизни. А после каждого крупного проигрыша приходилось добывать новые богатства, усерднее заниматься торговлей, строже взыскивать с должников, чтобы иметь возможность продолжать игру, снова швырять деньгами, снова выказывать свое презрение к богатству. Сиддхартха утратил спокойствие

духа при проигрышах, потерял терпение по отношению к неисправным должникам, утратил свое добродушие по отношению к нищим, перестал находить удовольствие в раздаче денег, в виде подарков или займы, обращавшимся к нему просителям. Тот самый Сиддхартха, который проигрывал за один раз десятки тысяч и смеялся при этом, становился в торговых делах прижимистым и мелочным, и даже по ночам ему часто снились деньги. А когда ему удавалось очнуться от этих отвратительных чар, когда он замечал в зеркале на стене своей спальни свое постаревшее и подурневшее лицо, когда на него нападали стыд и отвращение, он убегал от себя, снова бросаясь в азартную игру, снова прибегая к дурману сладострастия и вина, чтобы затем вновь уходить в стремление к накоплению и приобретению. И в этом бессмысленном круговороте он носился до изнеможения, до потери сил и здоровья.

Но наступил день, когда он очнулся, и случилось это под влиянием одного сновидения. Вечером того дня он был у Камалы, в ее прекрасном парке. Они сидели под деревьями и беседовали. Камала была настроена задумчиво, и в словах ее слышались грусть и усталость. Она просила Сиддхартху рассказать ей о Гаутаме и не могла досыта послушаться о нем – о том, как чист был его взгляд, как тихи и прекрасны были его уста, какой добротой дышала его улыбка, каким спокойствием веяло от его поступи. Долго, побуждаемый ею, он рассказывал ей о Возвышенном, а Камала слушала его, вздыхая, и наконец проговорила: «Когда-нибудь, и скоро, может быть, и я последую за этим Буддой. Я подарю ему свой парк и сделаю своим прибежищем его учение». Но вслед за тем она стала заигрывать с Сиддхартхой, разожгла его чувственность и в любовной игре с мучительной страстностью приковала его к себе, – со слезами и жгучими ласками, словно в последний раз хотела выжать из этого плотского преходящего наслаждения последнюю каплю сладости. Никогда еще Сиддхартха не сознавал с такой ясностью, до какой степени сладострастие родственно смерти. Потом он лежал рядом с Камалой, видел совсем близко от себя ее лицо и ясно, как никогда, он прочел под ее глазами и в уголках губ жестокие письма, начертанные тонкими линиями и легкими морщинками-письмена, напоминавшие об осени и старости. Да и сам Сиддхартха, которому пошел лишь четвертый десяток, уже не раз замечал седину в своих черных волосах. Усталость читалась на прекрасном лице Камалы – усталость от пройденного длинного пути без радостной цели, начинающееся увядание и скрытая, не высказываемая, быть может, еще даже не осознаваемая тревога: страх перед старостью, перед осенью, страх перед неизбежной смертью. Сиддхартха со вздохом попрощался с ней – и

его душа была полна тоски и невысказанной тревоги.

Потом у себя в доме Сиддхартха провел вечер в веселой компании, в обществе танцовщиц, причем держал себя по отношению к своим приятелям с видом превосходства, которое на самом деле уже не оправдывалось, выпил много вина и лишь далеко за полночь удалился на покой, усталый и вместе с тем возбужденный, близкий к слезам и отчаянию. Долго и тщетно искал он сна; сердце его ныло от невыносимой тоски, и весь он был преисполнен отвращения и тошноты. Его тошнило от тепловатого противного вкуса вина, от слащавой бессмысленной музыки, от полных неги улыбок танцовщиц, от приторного аромата их волос и грудей. Но еще большее отвращение он чувствовал к самому себе, к своим благоухающим волосам, к винному запаху своего рта, к вялости и дряблости своей кожи. Подобно тому, как человек, слишком много съевший и выпивший, может освободиться от излишка лишь рвотой и, несмотря на мучительность этого средства, жаждет получить от него облегчение, так и Сиддхартха, измученный бессонницей, в невыносимом приливе отвращения, жаждал освободиться от этих привычек и наслаждений, от всей этой бессмысленной жизни, от самого себя. Только на рассвете, когда на улице, где стоял его городской дом, уже начала пробуждаться деловая жизнь, он на несколько минут впал в забытие, в какое-то подобие сна. И в эти-то минуты ему приснился сон.

У Камалы в золотой клетке содержалась маленькая редкостная птичка. И вот Сиддхартхе приснилось, что птичка, всегда распевавшая на заре, внезапно замолкла. Удивленный этим, он подошел к клетке и увидел, что птичка мертва и лежит окоченелая на полу. Он вынул ее из клетки, с минуту подержал в руке и выбросил на улицу. Но в ту же минуту страшно испугался – сердце его сжалось от боли, точно вместе с этой мертвой птичкой он отбросил от себя все ценное и хорошее.

Очнувшись от этого сна, он почувствовал себя объатым убокой печалью. Бестолково и нелепо, – думалось ему, – я провел свою жизнь: ничего живого, ничего хоть сколько-нибудь ценного, ничего такого, что стоило бы сохранить, не осталось у него на руках. Одиноким и нищим остался он, словно выброшенный на берег после кораблекрушения. В самом мрачном настроении Сиддхартха отправился в принадлежащий ему парк, запер за собой ворота и сел под манговым деревом. Со смертельной тоской в сердце, с ужасом груди, он сидел и чувствовал, как что-то в нем умирало, увядало, близилось к концу. Понемногу он пришел в себя и мысленно прошел еще раз весь свой жизненный путь, начиная с первых дней, о которых у него сохранилась память, Чувствовал ли он себя когда-

нибудь счастливым, испытывал ли когда-нибудь истинную радость? О да, много раз он испытывал нечто подобное. Мальчиком он бывал счастлив, когда ему удавалось заслужить похвалы брахманов за чтение на-изусть священных стихов, когда он отличался в словесных состязаниях с учеными, или в качестве помощника жреца при жертвоприношениях. Тогда он чувствовал в своем сердце: «Вот путь, к которому ты призван – тебя ждут боги». Потом, юношей, когда в своих размышлениях он все выше и выше ставил свою цель, что выдвигало его над толпой подвигавшихся, подобно ему, товарищей, когда он в муках силился познать Брахму, когда каждое вновь приобретенное знание возбуждало в нем лишь новую жажду – тогда, при всей своей жажде, при всех муках, он чувствовал то же самое: «Вперед! вперед! Ты призван!» Этот же голос он слышал, когда поки-дал свою родину и избирал жизнь саманы, когда уходил от саман к Совершенному, когда и от последнего уходил в Неизвестное. Но как давно уже он не слышал этого голоса, как давно не поднимался выше! Как ровно и пустынно стлался его путь и как много долгих лет он шел по этому пути, без высокой цели, без жажды, без восхождений, довольствуясь маленькими радостями и все же никогда не удовлетворенный! Все эти годы он, сам того не сознавая, мечтал и стремил-ся стать таким же человеком, как все остальные, как все эти люди-дети, и при этом его жизнь была гораздо беднее и бессодержательнее, чем их жизнь, ибо их цели, их заботы его не занимали. Ведь весь этот мир людей, вроде Камасвами, был для него лишь игрой, пляской, комедией, в которой он участвовал лишь в качестве зрителя. Одна только Камала была ему дорога. Но дорожит ли он ею и сейчас? Нужна ли она ему, а он ей и теперь? Не представляют ли их отношения бесконечную игру? И стоит ли жить для этого? Нет, не стоит! Эта игра своего рода «сансара»; это игра для детей, в такую игру можно, пожалуй, с удовольствием сыграть раз, другой, десять раз, но играть вечно, без конца?

И Сиддхартха тут же почувствовал, что игра кончена, что он не в состоянии продолжать ее. Дрожь пробежала по его телу, – он почувствовал, что внутри у него что-то умерло.

Весь тот день он просидел под манговым деревом, вспоминая отца, Говинду, Гаутаму. Неужели он покинул их всех для того, чтобы стать каким-нибудь Камасвами? Наступила ночь, а он все еще сидел под манговым деревом. Когда, подняв глаза, он увидел звезды, то подумал: «Вот я сижу под своим манговым деревом, в своем парке». Он слегка усмехнулся. Действительно ли это было нужно и правильно, не было ли это нелепой игрой, что он обладал манговым деревом, обладал собственным

парком?

И с этим было покончено; и это умерло в нем. Он поднялся с места, простился с манговым деревом, простился с парком. Так как он провел день без пищи, то почувствовал сильнейший голод и вспомнил о своем доме в городе, о своей комнате и постели, о столе, уставленном яствами. Он улыбнулся усталой улыбкой, встряхнулся и простился со всеми этими вещами.

В ту же ночь Сиддхартха оставил сад, оставил город, чтобы никогда больше не возвращаться. Долгое время Камасвами разыскивал его, полагая, что он попал в руки разбойников. Но Камала не предпринимала никаких поисков. Узнав, что Сиддхартха исчез, она даже не удивилась. Ведь она всегда предчувствовала это. Ведь он, как был, так и остался саманой, бездомным странником. В особенности она почувствовала это при последнем свидании. И теперь, несмотря на горе утраты, она радовалась тому, что в этот последний раз так горячо прижимала его к сердцу, так полно чувствовала, что всецело принадлежит ему, что вся проникнута им.

Получив первое известие об исчезновении Сиддхартхи, она подошла к окну, где в золотой клетке содержалась редкая певчая птичка. Она открыла клетку, вынула певунью и пустила ее на волю. Долго смотрела она вслед улетающей птичке. С того дня она не принимала больше посетителей, и дом ее оставался закрытым. А через некоторое время она почувствовала, что от последнего свидания с Сиддхартхой ей предстоит стать матерью.

У РЕКИ

Сиддхартха уже был далеко от города. Он шел лесом и сознавал одно, что он не может больше вернуться назад, что жизнь, которую он вел в течение стольких лет, кончилась – он изведаль ее и пресытился до тошноты. Умерла певчая птичка, которую он видел во сне. Умерла птичка в его собственном сердце. Он слишком запутался в сансаре, со всех сторон он впитывал в себя отвращение и смерть, как губка впитывает воду – до полной насыщенности. И теперь в нем уже не оставалось ничего, кроме этого отвращения ко всему – не было ничего такого на свете, что могло бы прельстить, порадовать, утешить его.

Одно только страстное желание еще жило в нем – не думать больше о себе, успокоиться, умереть. Хотя бы гром грянул с неба и поразил его! Хотя бы тигр выскочил и сожрал его! Если бы достать какое-нибудь вино или яд, который привел бы его в бесчувственное состояние, принес бы забвение и сон, но сон без пробуждения! Ведь нет такой грязи, которой бы он себя не загрязнил, нет такого греха и безумия, какого бы он не совершил, нет такой душевной муки, какую бы он не предуготовил себе. Можно ли после этого оставаться жить? Можно ли по-прежнему дышать, чувствовать голод, по-прежнему есть, спать, жить с женщиной? Неужели это верчение в круге еще не закончилось для него?

Сиддхартха пришел к большой реке, протекавшей через лес, той самой, через которую некогда, когда он был еще молодым человеком и шел из города Гаутама, его переправил один перевозчик. Дойдя до реки, он нерешительно остановился на берегу. Усталость и голод одолевали его. Да и к чему идти дальше, куда, для какой цели? Нет, для него не существует больше никаких целей, есть только одно глубокое мучительно-страстное желание – стряхнуть с себя весь этот кошмар, выплюнуть что выдохшееся вино, положить конец этой жалкой и позорной жизни.

У самого берега росло кокосовое дерево, склонявшееся к реке. Сиддхартха оперся о дерево плечом, обхватил рукой ствол и стал глядеть в зеленые воды, безостановочно катившиеся под ним. Он глядел и глядел, и его все сильнее охватывало желание оторваться от своей опоры и дать себя поглотить воде. Страшная пустота глядела на него из воды, и ей отвечала такая же пустота в его душе. Да, он дошел до последнего предела. Ничего больше не оставалось ему, как вычеркнуть себя, разбить неудавшуюся форму своей жизни, кинуть ее под ноги издевающимся богам. Вот то

сильное рвотное средство, которого он искал! Уме реть, разбить форму, которую он ненавидел Пусть он достается на съедение рыбам, этот пес – Сиддхартха, этот безумный, пусть пожирают рыбы это мерзкое, прогнившее тело, эту одряхлевшую от излишеств душу! Пусть пожирают его рыбы и крокодилы! Пусть терзают его демоны!

С искаженным лицом глядел он в воду, увидел свое отражение и плюнул в него Потом в глубоком изнеможении отнял руку от ствола дерева и слегка повернулся, чтобы прямо, во весь рост, грохнуться в воду и погибнуть Закрыв глаза, он готов был броситься навстречу смерти.

В этот миг из каких-то отдаленных тайников его души, из давнишних переживаний его постылой жизни, вырвался звук Это было одно лишь словечко, один слог, который он пробормотал про себя совершенно бессознательно – древнее начальное и заключительное слово всех брахманских молитв, священное «Ом», означающее приблизительно «Совершенное» или «Совершенство» И в тот самый миг, когда звук «Ом» коснулся слуха Сиддхартхи, его заснувший ум внезапно проснулся и мгновенно сознал всю нелепость его поведения

Сиддхартха ужаснулся Так вот до чего он дошел! До такой степени он сбился с пути, до такой степени позабыл все, когда-то уже познанное, что мог искать смерти, что в нем могло вырасти желание – такое ребяческое желание – найти успокоение путем уничтожения тела То, к чему не привели все муки, все отрезвление, все отчаяние последнего времени – произошло в ту самую минуту, когда слово «Ом» проникло в его сознание Он пришел в себя, перед ним блеснул выход из его жалкого положения, из того лабиринта, в котором он очутился

– Ом! – прошептал он, – Ом!

И вспомнил Брахму, вспомнил о неуничтожаемости жизни, вспомнил все то божественное, что он успел позабыть

Но все это длилось один лишь миг, сверкнуло и исчезло, как молния Сиддхартха опустился на землю у подошвы кокосового дерева Сраженный усталостью, со словом «Ом» на устах, он положил голову на корни дерева и погрузился в сон

Глубок был его сон, без всяких сновидений Давно уже не знал он такого сна Когда через несколько часов он проснулся, то ему показалось, что он проспал целые годы Он слышал тихие всплески воды, но не мог дать себе отчет, где он и кто привел его сюда Раскрыл глаза, с удивлением увидел над собой деревья и небо и вспомнил, где он и как сюда попал Но вспомнил не сразу В течение некоторого времени прошедшее было для него как бы окутано дымкой, оно казалось ему таким далеким, таким

бесконечно далеким, бесконечно безразличным Он сознавал только то, что с прежней жизнью (в первые минуты проснувшегося сознания эта прежняя жизнь казалась ему одним из старых, давно уже пережитых воплощений, одним из прежних существований его теперешнего «Я»), что с этой прежней жизнью он покончил, что, полный отвращения и горя, он даже хотел положить конец самой жизни, но у какой-то реки под кокосовым деревом пришел в себя со священным словом Ом на устах, заснул и теперь проснулся новым человеком. Тихо проговорил он слово Ом, с которым заснул, и ему показалось, что весь его продолжительный сон был ни чем иным, как только длительным сосредоточенным выговариванием – вслух и мысленно – слова Ом, погружением и полнейшим растворением в этом Ом, в безымянном Совершенном.

Какой, однако, это был чудесный сон! Никогда после сна он не чувствовал себя до такой степени свежим, обновленным, помолодевшим. Может быть, он и в самом деле умер и родился вновь, в новой телесной оболочке? Да нет, он узнавал свою руку, свои ноги, узнавал место, где лежал, узнавал это Я в своей груди, этого Сиддхартху, своенравного, странного. Но этот Сиддхартху все же как-то переменялся, обновился; этот Сиддхартху чувствовал себя замечательно выпавшимся, замечательно бодрым, радостным и полным интереса ко всему.

Сиддхартху приподнялся и тут только увидел чужого человека, монаха в желтом одеянии, с обритой головой, сидевшего против него в позе созерцания. Он внимательно поглядел на этого человека, у которого обриты были не только волосы на голове, но и борода, и скоро узнал в монахе Говинду, друга своей юности, Говинду, ставшего учеником возвышенного Будды. И он, Говинда, также постарел, но лицо его сохранило свое прежнее выражение – выражение усердия, верности, искания, нерешительности. Когда же Говинда, почувствовав его взгляд, открыл глаза, то Сиддхартху увидел, что тот его не узнает. Говинда высказал свою радость, что Сиддхартху очнулся. Очевидно, он давно уже сидел тут и ждал его пробуждения, хотя и не узнавал его.

– Я спал, – сказал Сиддхартху. – Как же ты попал сюда?

– Да, ты спал, – ответил Говинда. – Нехорошо спать в таких местах, где водятся змеи и куда приходят лесные звери. А я, господин, ученик Возвышенного Гаутамы Будды, Шакьямуни, и проходил с толпой других монахов по этой дороге, когда увидел тебя лежащим и погруженным в сон в таком месте, где спать опасно. Я пытался разбудить тебя, господин, но заметив, что сон твой очень глубок, отстал от своих и остался при тебе. А потом, по-видимому, я и сам заснул, несмотря на то, что намерен был

охранять твой сон. Плохо же я исполнил свою обязанность – усталость одолела меня. Но теперь, раз ты проснулся, позволь мне уйти, чтобы я мог догнать своих братьев.

– Благодарю тебя, самана, за то, что ты охранял мой сон, – сказал Сиддхартха. – Благожелательные люди – ученики Возвышенного! Теперь, конечно, ты можешь уходить.

– Иду, господин. Желаю тебе всегда доброго здоровья.

– Спасибо тебе, самана. Говинда сделал знак приветствия и проговорил:

– Прощай!

– Прощай, Говинда! – сказал в ответ Сиддхартха. Монах остановился.

– Позволь, господин, узнать – откуда тебе известно мое имя?

Сиддхартха улыбнулся:

– Я знаю тебя, о Говинда, знаю с того времени, когда ты еще жил в хижине своего отца, когда мы посещали вместе школу брахманов, знаю со времени наших жертвоприношений и ухода к саманам до того часа, когда в роще Джетавана ты примкнул к ученикам Возвышенного.

– Ты Сиддхартха! – громко воскликнул Говинда. – Теперь-то я узнаю тебя! Не понимаю, как я не узнал тебя тотчас же. Приветствую тебя, Сиддхартха. Великая моя радость, что я снова вижу тебя.

– И я рад встрече с тобой. Ты охранял меня во время сна и еще раз благодарю тебя за это, хотя и не нуждался в охране. Куда направляешься ты, друг?

– Никуда. Мы, монахи, всегда странствуем, пока не наступит дождливое время года. Мы постоянно переходим с места на место, живем по уставу, возвещаем учение, собираем подаяния, идем дальше. Всегда мы так живем. Но ты, Сиддхартха, куда идешь?

Сиддхартха ответил:

– Я, как и ты, мой друг, никуда не направляюсь. Я иду куда глаза глядят – я странствую.

– Ты говоришь, что странствуешь, – сказал Говинда. – И я верю тебе. Но прости, О Сиддхартха, ты не похож на странника. Ты носишь платье богача, на тебе обувь знатного, и твои волосы, пахнущие ароматом благовонной воды, не могут быть волосами странника; такие волосы не бывают у саманы.

– Верно, дорогой. Ты наблюдателен, все замечает твой зоркий глаз. Но ведь я и не говорил тебе, что я самана. Я сказал лишь, что странствую. Так оно и есть: я странствую.

– Ты странствуешь, – сказал Говинда. – Однако немного встретишь ты

странников, которые странствуют, одетые и обутые как ты, с такими волосами. Много лет я хожу по белу свету, а такого странника ни разу не встречал.

– Верю, Говинда, что ни разу не встречал. Но на этот раз, сегодня, – ты встретил именно такого странника, в таких именно башмаках, в таком платье. Вспомни, милый: все преходяще в мире образований – преходящи, в высшей степени преходящи наши одеяния, прически наших волос, преходящи самые волосы и тело наше. Я ношу платье богача – это ты верно заметил. Ношу потому, что сам был богачом; я причесан, как миряне, люди, преданные наслаждениям, ибо и сам был одним из них.

– А теперь, Сиддхартха, кто ты теперь?

– Не знаю, столько же знаю, как и ты. Я иду, куда глаза глядят. Я был богачом, а теперь перестал быть таковым. А чем стану завтра – не знаю.

– Ты потерял свое богатство?

– Я потерял его, или вернее – богатство потеряло меня. У меня больше нет состояния. Быстро вращается колесо перерождений, Говинда. Где теперь брахман Сиддхартха? Где самана Сиддхартха? Где богач Сиддхартха? Быстро меняется все преходящее – ты знаешь это, Говинда.

Долго Говинда глядел на друга молодости, и во взгляде его читалось сомнение. Потом поклонился, как кланяются знатным, и пошел своей дорогой.

С улыбкой на лице глядел ему вслед Сиддхартха. Он все еще любил его, этого верного, нерешительного, старого друга. Да и мог ли он в эту минуту, в этот чудный час после своего удивительного сна, весь проникнутый «Ом», не любить кого и что бы то ни было? В том-то именно и состояла волшебная перемена, совершившаяся в нем во время сна и благодаря слову Ом, что он все любил теперь, что он преисполнен был радостной любви ко всему, что видел. И в том-то именно – казалось ему теперь – и состояла его прежняя болезнь, что он никого и ничего не мог любить.

С улыбкой на лице Сиддхартха глядел вслед уходящему монаху. Сон очень подкрепил его, но зато голод терзал сильнейшим образом – ведь он уже два дня ничего не ел, а давно уже прошло то время, когда он был нечувствителен к голоду. С болью, но вместе и с улыбкой, он вспомнил об этом времени. Тогда – припомнилось ему – он похвалялся перед Камалой тремя вещами, тремя благородными всепобеждающими искусствами: поститься, ждать, мыслить. В этом было его богатство, могущество и сила, в них была его твердая опора. В прилежные, посвященные упорной работе годы своей молодости он изучал эти три искусства и ничего более. А

теперь он утратил их. Ни одним из них он не владел более – ни искусством поститься, ни искусством ждать, ни искусством мыслить. И ради каких презренных вещей он пожертвовал ими! – ради того, что является самым преходящим – ради чувственных наслаждений, ради привольной жизни, ради бо гатства. Странно в самом деле сложилась его жизнь. А теперь как будто бы похоже на то, что он стал таким же, как все люди – как люди-дети.

Сиддхартха продолжал размышлять о своем положении. Не легко давалось ему теперь мышление; ему, в сущности, не хотелось думать, но он принуждал себя к этому.

– Теперь, – размышлял он, – когда все наиболее преходящие вещи ускользнули от меня, я снова стою в мире, как стоял когда-то, ребенком – ничего я не могу назвать своим, ничего я не умею, ничего не знаю, ничему еще не научился. Как все это странно! Теперь, когда молодость прошла, когда мои волосы наполовину поседели, когда силы убывают – теперь я, как ребенок, начинаю все сызнова. – Он снова невольно улыбнулся. Да, странной была его судьба! Его жизнь была уже на ущербе, а он снова остался с пустыми руками, гол как сокол, в полном неведении. Но никакого огорчения от этого сознания он не чувствовал – его даже смех разбирал – хотелось хохотать над собой, над этим странным нелепым миром!

– Твоя жизнь уже идет под гору, – сказал он самому себе, и рассмеялся. Но тут взгляд его упал на реку, и он обратил внимание, что ведь и река всегда течет вниз, под гору, а все же шумит и поет так весело. Это понравилось ему. Он ласково улыбнулся реке. Разве это не та самая река, в которой он хотел утопиться – когда-то... лет сто тому назад? Или это ему только приснилось?

– Странно, в самом деле, сложилась моя жизнь, – думал он, – странными она шла зигзагами. Мальчиком я имел дело только с богами и жертвоприношениями. Юношей я предавался только аскетизму, мышлению и самопогружению, искал Брахму, почитал вечное в Атмане. Молодым человеком последовал за монахами, жил в лесу, претерпевал зной и холод, учился голодать, умерщвлял свою плоть. Потом учение великого Будды озарило меня дивным светом. Я почувствовал, как мысль о единстве мира обращается в моих жилах, как моя собственная кровь. Но и от Будды, и от великого знания меня потянуло прочь. Я ушел и изучал у Камалы искусство любви, у Камасвами – торговлю, накапливал богатства, мотал деньги, научился баловать свою утробу, угождать своим страстям. Много лет потерял я на то, чтобы растратить ум, разучиться мыслить, забыть единство, и не похоже ли на то, что медленно, кружными путями, я вернулся теперь к детству, из мыслящего мужа стал взрослым ребенком? И

все же этот путь был очень хорош, все же птичка в моей груди, оказывается, не умерла. Но что это был за путь! Через сколько глупостей, пороков, заблуждений пришлось мне пройти, сколько мерзкого, сколько разочарований и горя пришлось пережить, – и все лишь для того, чтобы снова стать, как дитя, и начинать все сызнова! Но так оно и должно быть, мое сердце одобряет это, мои глаза улыбаются этому. Я должен был впасть в отчаяние, должен был докатиться до безумнейшей из всех мыслей – до мысли о самоубийстве, чтобы быть в состоянии принять благодать, чтобы снова услышать слово слов – Ом, чтобы снова спать и пробуждаться по-настоящему. Я должен был стать глупцом, чтобы вновь обрести в себе Атмана. Должен был грешить, чтобы быть в состоянии начать жить сызнова. Куда же еще приведет меня путь мой? Он нелеп, этот путь, идет зигзагами, быть может, даже вертится в круге – но пусть. Я пойду дальше по этому пути.

Удивительно радостное чувство волновало его грудь.

– Откуда, – спрашивал он свое сердце, – откуда в тебе это веселье? уж не от долгого ли хорошего сна, который так подкрепил меня? Или от слова Ом, произнесенного мною? А может быть, оттого, что я бежал, что мое бегство удалось, что я наконец свободен и стою под небом, как дитя? О, как славно то, что я бежал, что я освободился! Как чист и прекрасен тут воздух, как легко дышится им! Там, откуда я бежал, все пахло притираниями, пряностями, вином, изобилием, ленью. Как я ненавидел этот мир богачей, распутников, игроков! Как я ненавидел самого себя за то, что так долго оставался в этом ужасном мире! Сколько зла я сам себе причинил, как я себя ограблял, отравлял, терзал, как состарил себя, каким стал злым! Нет, никогда не стану воображать, как бывало раньше, что Сиддхартха человек мудрый. Но одно я хорошо сделал, за одно я должен похвалить себя – за то, что я перестал ненавидеть и причинять зло самому себе, что я покончил с той безумной и пустой жизнью. Хвала тебе, Сиддхартха, – после стольких лет, проведенных самым безрассудным образом, ты снова наконец напал на хорошую мысль, совершил нечто дельное: ты услышал пение птички в своей груди и последовал ее голосу!

Так он хвалил себя, радовался своему поступку, и с любопытством прислушивался к своему желудку, ворчавшему от голода. Порядочная доля страдания и муки – чувствовал он – изжита им до конца за последнее время; до отчаяния, до смерти чуть не довела его та жизнь. Но теперь все обстоит отлично. Он мог еще долго оставаться у Камасвами, наживать деньги, расточать их, ублажать свое тело и давать своей душе погибать от жажды. Еще долго мог бы он прожить в этом покойном, так мягко

высланном аду, не случись того, что с ним было: не настань тот миг полнейшей безнадежности и отчаяния, тот страшный миг, когда он висел над рекой и готов был уничтожить себя. Что он пережил это отчаяние, это глубочайшее отвращение и все-таки не поддался ему, что птичка – этот бодрый источник и внутренний голос – еще жива в нем – вот что так радовало его, вот чему он улыбался, вот отчего так сияло лицо его под поседевшими волосами!

– Хорошо, – думал он, – изведать самому все то, что надо знать. Что мирские удовольствия и богатства не к добру – это я знал еще ребенком. Знал-то давно, да убедился лишь теперь. И теперь я знаю это не только понаслышке, я убедился в этом собственными глазами, собственным сердцем, собственным желудком. Благо мне, что я это знаю!

Долго еще он размышлял о совершившейся в нем перемене и прислушивался к радостно распевавшей в нем птичке. Но разве эта птичка не умерла в нем, разве он не чувствовал ее смерти? Нет, что-то другое умерло в нем, нечто такое, что уже давно жаждало смерти. уж не то ли самое, что он когда-то, в годы своего пламенного подвижничества, хотел убить в себе? уж не его ли это Я, его маленькое, тревожное и гордое Я, с которым он боролся столько лет, и которое каждый раз заново одерживало над ним победу? То Я, которое после каждой попытки умерщвления снова оживало, запрещало радость, испытывало страх? уж не оно-то ли наконец умерло сегодня, вот здесь, в лесу, у этой прелестной реки? И не потому ли, что оно умерло, он чувствовал себя сегодня, как дитя, был так полон доверия, радости, так чужд страху?

Теперь только стал Сиддхартха догадываться, почему, будучи брахманом и подвижником, он тщетно боролся с этим Я. В этой борьбе его чрезмерное знание – слишком много он заучил священных стихов и правил для жертвоприношений, – чрезмерное самоистязание и усердие только были ему помехой. Он был тогда полон высокомерия – ведь он всегда был самый умный, самый старательный, всегда на шаг впереди всех, всегда в нем преобладало духовное начало, всегда в нем чувствовался священник или мудрец. В это-то священничество, в это-то высокомерие и духовность и заползло его Я, там оно засело крепко и росло, в то время, как он воображал, что умерщвляет его постом и покаянием. Теперь он убедился, что прав был тот внутренний голос, который говорил ему, что никакой учитель не приведет его к искуплению. Оттого-то он и должен был уйти в мир, расточать свои силы на наслаждения и власть, на женщин и деньги, должен был стать торгашом, игроком в кости, пьяницей и корыстолюбцем, пока не умер в нем священник и монах. Оттого-то он и должен был влачить

годами это безобразное существование, выносить с омерзением пустоту и бессмысленность загубленной жизни, выносить до конца, до горького отчаяния, пока не умер в нем Сиддхартха-кутила, Сиддхартха-корыстолюбец. Он умер наконец! Новый Сиддхартха проснулся после того сна. И этот Сиддхартха в свою очередь состарится, и этот когда-нибудь должен будет умереть. Бренным созданием был Сиддхартха, бренными были все создания в мире. Но сегодня этот новый Сиддхартха был молод, был как дитя, сегодня он полон был радости.

Вот какие мысли проносились в голове Сиддхартхи, и в то же самое время он с улыбкой прислушивался к недовольству своего желудка, радовался жужжанию пчелы. Весело глядел он на катящуюся реку. Никогда ни одна река не нравилась ему так, как эта, никогда голос и образ уносимой течением воды не казался ему таким прекрасным и красноречивым. Ему казалось, что эта река может ему сказать что-то особенное, что-то такое, чего он еще не знает, но что ему необходимо узнать. В этой реке Сиддхартха хотел утопиться, в ней и потонул сегодня старый, усталый, отчаявшийся Сиддхартха. Новый же Сиддхартха чувствовал глубокую любовь к этой катящейся воде и решил про себя, что не так-то скоро уйдет от нее.

ПЕРЕВОЗЧИК

– Я тут останусь, – подумал Сиддхартха. – Эта та самая река, через которую я переправлялся когда-то по пути к людям-детям. Тут был приветливый такой перевозчик – пойду и разыщу его. По выходе из его хижины и началась тогда моя новая жизнь, теперь уже старая и поконченная. Пусть и мой теперешний путь, предстоящая мне новая жизнь начнется на том же месте.

С нежностью глядел он на катящуюся реку, на прозрачную зелень, на хрустально-чистые линии ее загадочных очертаний. Светлые жемчужины поднимались на его глазах из глубины, тихие воздушные пузыри плавали по зеркалу воды, и в них отражалась синева неба. Тысячей глаз глядела на него река – зеленых, белых, чистых, как хрусталь, синих, как небо. Как он любил эту реку, как восхищался ею, как он был ей благодарен! И голос его сердца, только что проснувшийся голос говорил ему также: «Люби эту реку. Оставайся близ нее! учись у нее!» О, да. Он будет к ней прислушиваться, будет у нее учиться. Кто поймет эту реку и ее тайны, – думалось ему, – тот поймет и многое другое, перед тем откроется много тайн, все тайны...

Из тайн же самой реки он в этот день узнал лишь одну, и та поразила его душу. Он видел: эта вода текла и текла; она текла безостановочно и все же всегда была тут, всегда во всякое время была такою же, хотя каждую минуту была новой. О, если бы постичь, раскрыть эту тайну! Он еще не понимал, не постигал этого, в нем только шевелились догадки, отдаленные воспоминания, божественные голоса...

Сиддхартха поднялся с места. Невыносимым стал терзавший его голод. С глубоким интересом пошел он далее по береговой дорожке, вверх по течению, прислушиваясь к шуму воды, прислушиваясь к ворчанию голода в своих внутренностях.

Когда он пришел к перевозу, лодка как раз готова была отчалить, и в ней стоял тот самый перевозчик, который когда-то перевез через реку молодого саману. Сиддхартха узнал его, хотя и он сильно постарел.

– Ты перевезешь меня? – спросил он.

Перевозчик, удивленный тем, что такой знатный господин пришел один и пешком, принял его в свою лодку и отчалил от берега.

– Прекрасное занятие ты выбрал себе, – сказал Сиддхартха. – Чудесно, должно быть, жить всегда у этой реки и ездить по ней.

С улыбкой качнул головой гребец:

– Да, это чудесно! Ты верно заметил, господин. Но разве не всякая жизнь, не всякий труд прекрасен?

– Возможно. Но мне кажется завидным именно твое занятие. – Ну, тебе оно скоро надоело бы. Такая работа не подходит для хорошо одетых людей. Сиддхартха рассмеялся.

– Вот уже второй раз за сегодняшний день ко мне из-за моего платья относятся с недоверием. Не хочешь ли ты, перевозчик, принять от меня это платье, которое мне надоело? Ты должен знать, что у меня нет денег, чтобы заплатить тебе за перевоз.

– Господин шутит, – рассмеялся перевозчик.

– Я не шучу, друг мой. Один раз ты уже перевез меня в своей лодке через эту реку и перевез даром. Сделай же это и сегодня и прими взамен платы мое платье.

– Как же господин отправится дальше без платья?

– Видишь ли, я предпочел бы не отправляться дальше. Приятнее всего мне было бы, перевозчик, если бы ты дал мне какой-нибудь старый фартук и взял бы к себе помощником, вернее, учеником, так как я должен еще научиться, как управлять лодкой.

Долго и пытливо вглядывался перевозчик в лицо чужого. – Теперь я узнаю тебя, – сказал он наконец. – Когда-то ты ночевал в моей хижине. Давно уж это было – пожалуй, больше двух десятков лет тому назад. Я перевез тебя через реку, и мы распрощались, как добрые друзья. Помнится, ты был тогда саманой? Но твоего имени я не могу припомнить.

– Меня зовут Сиддхартхой и я был саманой, когда ты видел меня в последний раз.

– Добро пожаловать, Сиддхартха! Меня зовут Васудева. Ты и сегодня, надеюсь, будешь моим гостем и проведешь ночь в моей хижине. Ты расскажешь мне, откуда ты идешь и почему твое прекрасное платье так надоело тебе.

Они выехали на средину реки, и Васудева сильнее приналег на весла, чтобы справиться с течением. Спокойно работал он своими сильными руками, следя за острым концом лодки. Сиддхартха сидел, глядел, как он работает, и вспоминал, как уже тогда, в последний день своей жизни аскета-саманы, в его сердце зародилась любовь к этому человеку. Он принял с благодарностью его предложение. Когда они причалили к берегу, он помог ему привязать лодку к колышку, после чего перевозчик пригласил его войти в хижину, предложил ему хлеба, воды и плодов манго, и Сиддхартха поел всего с наслаждением.

Потом – солнце близилось уже к закату – они сели на древесный пенек у берега, и Сиддхартха рассказал перевозчику о своем происхождении и своей жизни – изобразив ее в том самом свете, в каком он видел ее сегодня в час отчаяния. До поздней ночи длился его рассказ.

Васудева слушал с глубоким вниманием. Все он выслушал с одинаковым интересом: о происхождении и детстве Сиддхартхи, о годах учения и исканий, о радостях и горестях. Это было, между прочим, одним из главных достоинств перевозчика – он умел слушать, как редко кто умеет. Хотя он не произносил ни слова, но рассказчик все время чувствовал, как Васудева вбирает в себя его слова – тихо, откровенно, терпеливо, не теряя ни одного слова, не проявляя нетерпения, не прерывая ни похвалой, ни порицанием. Сиддхартха чувствовал, какое это счастье – исповедаться перед таким слушателем, раскрыть перед ним всю свою жизнь, все свои искания, все свои страдания.

Но к концу повествования, когда Сиддхартха заговорил о дереве на берегу реки, о своем глубоком падении, о священном Ом и о том, как, проснувшись, он почувствовал такую сильную любовь к реке, внимание перевозчика, казалось, удвоилось: он был всецело захвачен рассказом и слушал его с закрытыми глазами.

Когда же Сиддхартха смолк, и наступила продолжительная тишина, Васудева сказал:

– Так я и думал! Река заговорила с тобой. И тебе она друг, и тебе она говорит. Это хорошо, очень хорошо. Оставайся со мной, Сиддхартха, друг мой. У меня когда-то была жена; ее ложе было рядом с моим. Но ее уже давно нет в живых, давно я уже живу один. Будь ты теперь моим товарищем – места и пищи хватит на двоих.

– Благодарю тебя, – ответил Сиддхартха, – благодарю и принимаю твое предложение. И за то благодарю тебя, Васудева, что ты так хорошо слушал меня. Редко встречаются люди, умеющие слушать, а такого, как ты, слушателя, я не встретил ни разу. И в этом мне придется поучиться у тебя.

– Ты научишься этому, – сказал Васудева, – но не у меня. Я научился слушать от реки; и тебя она научит этому. Река все знает, у нее всему можно научиться. Смотри – одному уже тебя научила река – что хорошо стремиться вниз, спускаться, искать глубины. Богатый и знатный Сиддхартха становится гребцом; ученый брахман Сиддхартха становится перевозчиком – ведь и это внушено тебе рекой. Она и другому тебя научит.

– В чем это другое, Васудева? – сказал Сиддхартха после продолжительной паузы.

Васудева поднялся с места.

– Уже поздно, – сказал он, – пора идти спать. Я не могу тебе сказать, в чем это «другое», друг мой. Ты узнаешь это сам, а, может быть, и уже знаешь. Видишь ли ты, я не ученый, я не умею говорить, не умею также размышлять. Я умею только слушать и быть скромным – больше я ничему не научился. Если бы я мог это объяснить другим, я, быть может, прослыл бы мудрецом. Но я только перевозчик и моя задача – перевозить людей через реку. Много народу перевез я на ту сторону, тысячи людей, но они все смотрели на мою реку, лишь как на помеху в пути. Они отправлялись по делам и за деньгами, на свадьбы и на богомолье, река же преграждала им путь, и перевозчик на то и был тут, чтобы дать им возможность быстро преодолеть это препятствие. Только немногие из этих тысяч, весьма немногие – четверо или пятеро – перестали видеть в реке помеху – они услышали ее голос, они прислушались к нему, и река стала для них священной, как и для меня.

Сиддхартха остался у перевозчика и научился управлять лодкой, а если на перевозе нечего было делать, он работал вместе с Васудевой на рисовом поле, собирал дрова, срывал плоды с банановых деревьев. Он научился делать весла, чинить лодку, плести корзины, радовался всякому приобретенному навыку, и время быстро пролетало для него. Но еще больше, чем у Васудевы, он учился у реки. У нее он учился слушать – прислушиваться с тихим сердцем, с раскрытой, полной ожидания душой, без увлечения, без желания, без суждения и мнения.

Его отношения с Васудевой были самые дружеские. От времени до времени они обменивались несколькими словами – немногими, но глубоко продуманными. Васудева был не словоохотлив. Редко Сиддхартхе удавалось вызвать его на разговор. – Ты также, – спросил он его однажды, – узнал от реки ту тайну, что время не существует? Лицо Васудевы просияло улыбкой.

– Да, Сиддхартха, – сказал он. – Ты хочешь сказать, что река одновременно находится в разных местах – у своего источника, и в устье, у водопада, у перевоза, у порогов, в море, в горах – везде в одно и то же время, и что для нее существует лишь настоящее – ни тени прошедшего, ни тени будущего?

– Ты верно понял меня, – ответил Сиддхартха. – И когда я познал это, то оглянулся на свою жизнь и увидел, что и жизнь моя похожа на реку, что мальчика Сиддхартху отделяют от мужа Сиддхартхи и старика Сиддхартхи только тени, а не реальные вещи. Точно так же и прежние воплощения Сиддхартхи не были прошедшими, а его смерть и возвращение к Брахме не представляют будущего. Ничего не было, ничего не будет: все есть, все

имеет реальность и настоящее.

Сиддхартха говорил все это с восторгом – это снизошедшее на него откровение доставляло ему глубокое счастье. Разве всякое страдание не существовало во времени, разве все душевные терзания и тревоги не были во времени? И разве все тяжелое, все враждебное в мире не исчезало, не оказывалось побежденным, как только человек побеждал время, как только он отрешался умом от времени? Сиддхартха проговорил это с восторгом. Васудева же улыбнулся ему с сияющей улыбкой и кивнул утвердительно головой. Кивнул безмолвно, провел правой рукой по плечу Сиддхартхи и снова принялся за работу.

В другой раз, когда река в период дождей вздулась и сильно шумела, Сиддхартха заметил:

– Не правда ли, друг, у реки много голосов, очень много? Ты не находишь, что у нее бывает то голос царя или воина, то голос быка или ночной птицы, то голос, напоминающий крик женщины во время родов или вздохи несчастного, и еще тысячи других голосов?

– Это верно, – кивнул головой Васудева, – все голоса в мире заключены в голосе реки.

– И знаешь, – продолжал Сиддхартха, – какое слово она произносит, когда тебе удастся услышать одновременно все ее десять тысяч голосов?

Со счастливой улыбкой Васудева склонился к Сиддхартхе и шепнул ему на ухо священное слово Ом. Его-то именно и расслышал Сиддхартха в шуме реки.

И со дня на день улыбка последнего становилась все более похожей на улыбку перевозчика, становилась почти такой же сияющей, почти столь же светилась счастьем; так же, как и у Васудевы, она светилась в тысяче морщинок, была такая же детская и такая же старческая. Многие проезжие, видя обоих перевозчиков, принимали их за братьев. Часто, по вечерам, они сидели рядом на пне у берега и молча прислушивались к шуму воды, который был для них не простым шумом, а голосом жизни, голосом сущего, вечно образующегося вновь. И подчас случалось, что оба, слушая реку, одновременно думали об одном и том же: о недавнем разговоре, об одном из проезжих, заинтересовавшем их своей наружностью или судьбой, о смерти, о своем детстве, и оба они, если река говорила им что-нибудь хорошее, одновременно взглядывали друг на друга с одной и той же мыслью, одинаково осчастливленные одинаковым ответом на один и тот же вопрос.

От этого перевоза и от обоих перевозчиков исходило что-то особенное, и оно ощущалось многими из проезжих. Случалось иногда, что проезжий,

взглянув в лицо одного из перевозчиков, начинал вдруг рассказывать про свою жизнь, про свое горе, сознавался в содеянном зле, просил утешения и совета. Случалось, что иной просил позволения провести у них вечер, чтобы слушать реку. Случалось также, что к ним приходили любопытные, прослышавшие, что у этого перевоза живут двое мудрецов, или волшебников, или святых. Любопытные забрасывали их вопросами, но не получая ответов, приходили к заключению, что тут нет никаких волшебников или мудрецов, а просто два приветливых старичка, казавшиеся немыми, немного странные и придурковатые. И любопытные смеялись и толковали между собою о том, до чего глупы и легковерны те, которые распространяют подобные слухи.

Годы уходили, и никто не считал их. Но вот однажды пришли монахи, последователи Гаутамы Будды, и просили перевезти их через реку. От них перевозчики узнали, что они спешат к своему великому учителю, так как распространилась весть, что Возвышенный опасно болен и скоро в последний раз умрет человеческой смертью, дабы достигнуть окончательного искупления. В скором времени пришла новая партия монахов, потом еще одна. Все они, как и большинство проезжих и странников, не говорили ни о чем ином, как о Гаутаме и его близкой кончине. И подобно тому, как при известии о военном походе или предстоящем венчании какого-нибудь царя со всех сторон стекаются люди и собираются в кучи, подобно муравьям, так точно, словно привлеченные чарами, стекались монахи туда, где великий Будда ждал смерти, где должно было совершиться событие неизмеримой важности, где великий Совершенный того века должен был почить в блаженстве.

Много думал за это время Сиддхартха об умирающем мудреце, о великом учителе, чей голос поучал народы и пробудил сотни тысяч людей, чей голос и он когда-то слышал, на чье святое лицо и он когда-то взирал с благоговением. С хорошим чувством вспоминал он о том времени, представлял себе пройденный учителем путь к совершенству и с улыбкой вспоминал слова, с которыми он, молодой человек, обратился к Возвышенному. То были гордые, не по годам рассудительные слова, – думал он с улыбкой. Давно уже он сознавал, что его ничто не разделяет с Гаутамой, хотя учения его он принять не мог. Да и никакого вообще учения не может принять истинно ищущий, истинно желающий найти. Тот же, кто нашел, тот может признать любое учение, любой путь, любую цель – его ничто более не отделяет от тысячи других, живущих в Вечном, вдыхающих в себя Божественное.

В один из тех дней, когда так много народу совершало паломничество

к умирающему Будде, к нему отправилась и Камала, когда-то прекраснейшая из куртизанок. Давно уже она оставила прежнюю жизнь. Она подарила свой сад монахам Гаутамы, приняла его учение и стала одной из тех, которые возлагали на себя заботу и попечение о странниках, услышав о близкой смерти Гаутамы, она тотчас же вместе со своим мальчиком Сиддхартхой пустилась в путь. Пешком, одетая в простое платье, она шла со своим маленьким сыном по течению реки; но мальчик скоро утомился и проголодался; ему захотелось вернуться домой, и он стал капризничать и хныкать. Камала из-за него должна была часто останавливаться, чтобы дать ему отдохнуть, чтобы покормить его или пожурить. Мальчик привык настаивать на своем. Он не понимал, зачем ему надо вместе с матерью совершать такое тяжелое и скучное паломничество, отправляться в незнакомое место, к чужому человеку, который был святым и собирался умереть. Пусть себе умирает – ему-то, Сиддхартхе, какое до этого дело?

Паломники были уже недалеко от перевоза Васудевы, когда маленький Сиддхартха снова заставил мать сделать привал для отдыха. Камала, впрочем, и сама уже утомилась, и в то время, как мальчик кушал банан, она опустилась на землю, полузакрыла глаза и предалась отдыху. Вдруг она испустила жалобный крик. Мальчик с испугом взглянул на мать, увидел ее побледневшее от ужаса лицо и выползавшую из-под ее платья маленькую черную змею, ужалившую Камалу.

Тотчас же оба бросились бежать по дороге, чтобы встретить людей. Они уже почти достигли перевоза, когда Камала свалилась, уже не силах идти дальше. Мальчик стал кричать и плакать, поминутно целуя и обнимая мать; та также стала громко звать на помощь, пока эти крики не были услышаны Васудевой, стоявшим у перевоза. Прибежав на место, он взял женщину на руки и отнес в лодку; мальчик последовал за ним, и скоро все пришли в хижину, где Сиддхартха стоял у очага, разводя огонь. Он поднял глаза и прежде всего увидел лицо мальчика, показавшееся ему странно знакомым, напоминающим что-то забытое. Потом увидел Камалу и тотчас же узнал ее, хотя она и лежала без чувств на руках перевозчика. И тогда он понял, что этот мальчик со столь знакомым ему обликом – его родной сын, и сердце у него затрепетало в груди.

Рану обмыли, но она уже успела почернеть и кожа вздулась. Камале влили в рот лекарство, и она очнулась. Она лежала на ложе Сиддхартхи, в хижине, а над ней склонился человек, который когда-то так сильно любил ее. Ей показалось, что она видит все это во сне. С улыбкой глядела она в лицо друга, но понемногу пришла в себя, вспомнила об укусе и с тревогой

спросила о мальчике. – Он тут, не беспокойся! – сказал Сиддхартха. Камала взглянула ему в глаза. Она с трудом ворочала языком, парализованным ядом.

– Ты постарел, милый, – сказала она, – ты совсем седой. Но ты похож на того молодого саману, который когда-то, почти нагишом, с запыленными ногами, пришел ко мне в сад. Ты теперьходишь на него гораздо больше, чем тогда, когда ты покинул меня и Камасвами. Глазами ты похож на него, Сиддхартха. увы, и я постарела, очень постарела. Ты узнал меня все-таки?

Сиддхартха улыбнулся:

– Я тотчас же узнал тебя, милая Камала.

– А его ты узнал? – сказала она, указывая на мальчика. – Это твой сын.

Глаза ее приняли блуждающее выражение и скоро закрылись. Мальчик заплакал. Сиддхартха взял его на колени, дал ему поплакать, гладил ему волосы и, глядя на это детское лицо, вспомнил одну из брахманских молитв, которую заучил когда-то, когда сам был маленьким мальчиком. Медленно, нараспев, он стал произносить ее вслух, слова сами собою всплывали в его памяти. И под его напев мальчик успокоился, перестал плакать и, только изредка всхлипывая, заснул на его коленях. Сиддхартха положил его на постель Васудевы. Последний стоял у очага и варил рис. Сиддхартха кинул ему взгляд, на который тот ответил улыбкой.

– Она умрет, – шепотом сказал Сиддхартха.

Васудева кивнул головой. По его приветливому лицу пробежал отблеск горевшего на очаге огня.

Еще один раз Камала пришла в сознание. Лицо ее исказилось болью. Сиддхартха читал ее страдания на ее губах, на побледневших щеках. Тихо читал он их, не спуская глаз, и ждал, погруженный в ее страдания. Камала почувствовала это, и глазами искала взгляда. Уловив его, она проговорила:

– Теперь я вижу, что и глаза твои изменились: они теперь совсем иные. Почему же я, однако, узнаю, что ты Сиддхартха? Это ты и как будто не ты.

Сиддхартха не отвечал. Глаза его безмолвно глядели в ее глаза.

– Ты достиг своей цели? – спросила она. – Ты обрел мир?

Он улыбнулся и положил свою руку на ее руку.

– Я вижу, – сказала она. – Я вижу это. И я обрету мир.

– Ты обрела его, – шепотом проговорил Сиддхартха.

Камала продолжала, не отрываясь, глядеть ему в глаза. Она думала о том, что вот она шла к Гаутаме, чтобы увидеть лицо Совершенного, чтобы подышать исходящим от него миром, а вместо того нашла Сиддхартху, и что это так же хорошо, как если бы она видела самого Гаутаму. Она хотела сказать это Сиддхартхе. Но язык уже не повиновался ей. Молча глядела она

на Сиддхартху, и он видел по ее глазам, что жизнь в ней угасает. Когда взгляд ее в последний раз выразил страдание и потух, когда последняя судорога пробежала по ее телу, Сиддхартха сам закрыл ей глаза.

Долго сидел он и глядел на ее точно заснувшее лицо. Долго созерцал он ее рот, ее старый усталый рот со сжатыми губами и вспомнил, что когда-то, в весну своей жизни, сравнил этот рот с только что раскрывшейся смоквой. Долго сидел он, читал в бледном лице, в его усталых складках, впитывал в себя черты покойной, видел себя самого лежащим в таком же положении, таким же побелевшим и угасшим и в то же самое время видел и свое, и ее лицо молодыми, с алыми губами, с горящими глазами, и его всецело охватило чувство одновременности настоящего и прошлого, чувство вечности. Глубоко, глубже, чем когда-либо, он почувствовал в этот час неуничтожаемость всякой жизни, вечность каждого мгновения.

Когда он поднялся с места, Васудева предложил ему при готовленном им рису. Но Сиддхартха отказался. В сарае, где помещалась их коза, оба старика устроили себе постель на соломе, и Васудева лег спать. Сиддхартха же вышел и просидел всю ночь перед хижинкой, прислушиваясь к шуму реки, окруженный волнами прошлого, в одно и то же время переживая все периоды своей жизни. От времени до времени он вставал, подходил к дверям и прислушивался, спит ли мальчик.

Рано утром, еще до восхода солнца, Васудева вышел из сарая и подошел к своему другу:

– Ты не спал? – сказал он.

– Нет, Васудева. Я сидел тут и слушал реку. Многое она мне сказала, глубоко проникся я благодаря ей спасительной мыслью – мыслью о единстве.

– Тебя постигло горе, Сиддхартха, но я вижу – скорбь не проникла в твое сердце.

– Нет, милый, как могу я печалиться? Я, и без того богатый и счастливый, стал теперь еще богаче и счастливее. Я получил в подарок своего сына.

– И я рад появлению твоего сына. Но теперь, Сиддхартха, нам надо приняться за дело – работы много. Камала умерла на том самом ложе, на котором когда-то умерла моя жена. И костер для Камалы мы соорудим на том же холме, на котором когда-то я воздвиг костер для жены.

Пока мальчик спал, костер был готов.

СЫН

Со страхом и слезами мальчик присутствовал при погребении матери. С испуганным и угрюмым видом он слушал Сиддхартху, когда тот назвал его своим сыном и приветствовал его появление в хижине Васудевы. Целыми днями он просиживал, бледный, на могильном холме, едва дотрагивался до пищи, отворачивал свой взгляд от отца, закрывал для него свое сердце, всем видом своим и поведением протестуя против постигшей его судьбы.

Сиддхартха снисходительно относился ко всем выходкам мальчика. Он уважал его печаль. Он понимал, что он еще чужой для сына, что тот не может любить его, как отца. Мало-помалу он заметил, что одиннадцатилетний мальчик – избалованный маменькин сынок, выросший в богатстве, привыкший к тонким кушаньям, к мягкой постели, к покорности слуг. Сиддхартха понял, что опечаленный утратой, избалованный мальчик не может сразу и добровольно примириться с жизнью в такой чуждой и бедной ему обстановке. Он поэтому не принуждал его ни к чему, делал за него многие работы, выбирал для него самый лучший кусок, утешая себя надеждой, что понемногу, лаской и терпением, приобретет его любовь.

Богатым и счастливым называл он себя, когда нашел сына. Но время шло, а мальчик по-прежнему оставался чуждым и мрачным, обнаруживал гордое строптивое сердце, не хотел ничего делать, был непочтителен со стариками, опустошал плодовые деревья Васудевы. И Сиддхартха начал понимать, что сын принес ему не счастье и мир, а горе и заботу. Но он любил сына, и милее ему были горе и забота, внушаемые любовью, чем счастье и радость, но без мальчика.

С тех пор, как молодой Сиддхартха жил вместе с ними, оба старика поделили между собой работу. Васудева стал один справляться с перевозом, а Сиддхартха, чтобы не отлучаться от сына, принял на себя все домашние и полевые работы.

Долгое время, долгие месяцы ждал Сиддхартха, что сын наконец поймет его, примет его любовь, – быть может, ответит взаимностью. Долгие месяцы ждал и Васудева, молчал и не вмешивался. Но однажды вечером, после того, как Сиддхартха-мальчик снова измучил отца своими капризами и упрямством, причем умышленно разбил обе имевшиеся в хижине миски для риса, он отвел своего друга в сторону и заговорил с ним

о сыне.

– Прости, – сказал он, – но моя дружба к тебе не позволяет мне больше молчать. Я вижу, что тебя мучает, вижу, какое у тебя горе. Твой сын, милый, причиняет тебе заботу, да и мне также. Не к такой жизни, не к такому гнезду привыкла птичка. Ты отказался от города и богатства из пресыщения и отвращения, он же против воли должен был покинуть все это. Я спрашивал реку, друг мой, много раз спрашивал ее. Но река смеется – она смеется над нами обоими, над нашей глупостью. Вода стремится к воде, молодость тянется к молодости. Твоему сыну здесь не место – ему нужна для правильного роста другая почва. Спроси и ты реку, прислушайся и ты к тому, что она говорит.

С горестью взглянул Сиддхартха на морщинистое лицо друга, всегда такое ясное и приветливое.

– Но как могу я расстаться с ним? – сказал он тихо и сконфуженно. – Дай мне еще сроку, милый. Ведь я борюсь, я всеми силами стараюсь покорить его сердце; любовью и ласковым терпением я хочу полонить его. Пусть и он со временем научится понимать реку. И он из числа призванных.

Улыбка Васудевы расцвела еще теплее.

– О да, – и он из призванных, и ему предстоит жизнь в вечности. Но знаем ли мы – ты и я – к чему он призван, к какому пути, к каким делам, к каким страданиям? Немало ждет его в жизни страданий, ведь сердце у него гордое и суровое, много страданий, много ошибок, много несправедливостей выпадет на его долю, немало грехов он взвалит себе на плечи. Скажи мне, милый: ты ведь не воспитываешь твоего сына? Не неволишь его? Не бьешь, не наказываешь?

– Нет, Васудева, я ничего подобного не делаю.

– Знаю. Ты его не неволишь, не бьешь, не приказываешь ему, так как знаешь, что мягкое крепче твердого, вода сильнее скалы, любовь сильнее насилия. Прекрасно, я одобряю твой образ действий. Но не ошибаешься ли ты, полагая, что ты его не принуждаешь, не наказываешь? Разве ты не налагаешь на него цепей своей любовью? Не пристыжаешь его ежедневно, не подавляешь своей добротой и терпением? Разве ты не вынуждаешь его, этого высокомерного и избалованного мальчика, жить в хижине в обществе двух стариков, питающихся бананами, считающих даже рис лакомством, в обществе людей, мысли которых не могут быть его мыслями, сердца которых стары, бьются тише и иначе, чем его сердце? Разве все это не является для него принуждением, наказанием?

Пораженный Сиддхартха опустил глаза. Потом тихо проговорил:

– Что же, по-твоему, я должен делать? И Васудева ответил:

– Отведи его обратно в город, верни в дом матери – там, наверно, еще остались прежние слуги. А если никого не осталось, то отведи его к учителю – не ради учения, но чтобы он попал в общество других мальчиков и девочек, чтобы он попал в тот круг, к которому принадлежал раньше. Тебе никогда не приходило это в голову?

– Ты видишь мое сердце насквозь, – печально произнес Сиддхартха. – Не раз я думал об этом. Но посуди – как могу я оставить его в этом мире, при его и без того не кроткой натуре? Не станет ли он еще более своенравным, не увлечется ли наслаждениями и властью, не повторит ли он все ошибки своего отца? Кто знает, не погибнет ли он окончательно в сансаре?

Еще ярче засияла улыбка перевозчика. Он ласково дотронулся до руки Сиддхартхи и сказал:

– Спроси об этом у реки, друг. Послушай, как она будет смеяться над твоим вопросом. Неужели ты серьезно полагаешь, что твои ошибки могут избавить твоего сына от подобных же ошибок? И каким способом ты можешь уберечь его от сансары? Учением, молитвой, увещаниями? Милый, неужели ты совсем позабыл ту историю о сыне брахмана Сиддхартхе, которую ты когда-то рассказал мне на этом самом месте? Кто уберег саману Сиддхартху от сансары, от греха, от алчности и безумства? Разве уберегли его от всего этого благочестие отца, наставления учителей, его собственное знание, собственные искания? Какой отец, какой учитель мог помешать ему самому переживать свою жизнь, самому познакомиться со всей ее грязью, самому грешить, самому испить горькую чашу и самому же выйти на дорогу? Неужели ты, мой милый, думаешь, что кого-нибудь может миновать эта чаша? И что таким исключением будет именно твой сыночек, потому что ты его любишь, потому что тебе так хотелось бы уберечь его от горя, страдания и разочарования? Но хотя бы ты ради него претерпел смерть, тебе все же не удастся избавить его ни на йоту от ожидающей его участи.

Никогда еще Васудева не говорил так долго. Сиддхартха дружески поблагодарил его, горестно вошел в хижину и долго не находил сна. Друг не сказал ему ничего такого, чего бы он сам не думал и не знал. Но это знание он не в состоянии был применить на деле. Сильнее этого знания была его любовь к мальчику, его нежность, его страх потерять сына. Разве случалось ему до такой степени отдавать кому-нибудь свое сердце, разве когда-нибудь случалось ему любить человека так слепо, с такой болью, не встречая взаимности и чувствуя себя все-таки счастливым этой любовью?

Сиддхартха не мог последовать совету друга – он не в состоянии был расстаться с сыном. Он позволял мальчику командовать над ним, держать себя с ним непочтительно. Он молчал и ждал, каждый день начиная сизнова немую борьбу кротости, безмолвную войну терпения. Молчал и Васудева и ждал, приветливый, всепонимающий, долготерпеливый. По части терпения оба не имели себе равных.

Однажды, когда лицо мальчика особенно сильно напоминало ему Камалу, Сиддхартха внезапно вспомнил слова, когда-то в дни молодости сказанные ему последней: «Ты не способен любить», – сказала она ему – и он согласился и сравнил себя со звездой, а людей-детей – с падающими листьями. И все же в словах Камалы он почувствовал тогда упрек. В самом деле, он никогда не мог всецело, до самозабвения, отдаться другому человеку, никогда не совершал ради другого безумств любви. Он считал себя совершенно неспособным на это, и в этой-то его неспособности – казалось ему тогда – и заключалось то большое различие, которое существовало между ним и людьми-детьми. Но теперь, с тех пор, как у него появился сын, и сам он, Сиддхартха, стал одним из последних; и он страдал из-за другого человека, любил другого человека, весь отдаваясь этой любви, совершал ради нее безрассудства. Теперь и он наконец, хоть и поздно, испытал эту самую странную, самую могучую из всех страстей, страдал от нее, страдал мучительно, и все же чувствовал себя счастливым, словно в чем-то обновленным, словно чем-то обогащенным.

Конечно, он сознавал, что такая слепая любовь к сыну есть слабость, обыкновенная человеческая страсть, что и она – сансара, не совсем чистый источник, мутная вода. Но вместе с тем он чувствовал, что и такая любовь имеет свою ценность, что она даже необходима, как все вытекающее из глубины человеческого существа. И эту жажду следовало утолить, и эти страдания надо было изведать, и такие безрассудства надо было совершить.

А сын между тем заставлял его совершать их одно за другим – он заставлял отца ухаживать за ним, смиряться перед его капризами. Этот отец не обладал ничем, что могло бы восхищать мальчика или внушать ему страх. Он был добряк, этот отец – добрый, ласковый, кроткий человек, быть может, очень благочестивый, быть может, даже святой. Но все это были такие качества, которые ничуть не пленяли мальчика. Скучно было ему в обществе этого отца, державшего его, как в плену, в своей жалкой хижине. Надоел он ему смертельно, а то, что на каждую скверную проделку мальчика он отвечал улыбкой, на каждое обидное слово отзывался ласковым словом, на каждую злобную выходку отвечал добротой – это-то именно и представлялось ему самой ненавистной уловкой со

стороны старого ханжи. Гораздо приятнее было бы мальчику услышать от отца угрозы, претерпевать наказание.

Но наступил день, когда чувства молодого Сиддхартхи прорвались наружу, и он открыто выступил против отца. Последний поручил ему набрать хвороста. Но мальчик не пошел, а остался в хижине с дерзким и взбешенным видом, топнул ногой о землю, сжал кулаки и в неистовой вспышке бросил отцу прямо в лицо всю свою ненависть и презрение.

– Сам ступай за своим хворостом! – крикнул он с яростью. – Я тебе не слуга. Я ведь знаю, почему ты меня не бьешь – ты не смеешь! Я знаю – своей всегдашней кротостью и снисходительностью ты хочешь только унижить меня – это твой способ наказания. Ты хотел бы, чтобы я стал таким же мудрым. А я – так и знай – тебе назло я предпочту стать грабителем и разбойником и попасть в ад, чем стать таким, как ты. Я ненавижу тебя. Ты не отец мне, хотя бы ты десять раз был любовником моей матери. Гнев и горе так и душили его и вырывались в необузданных и злобных словах, направленных против отца. Потом он убежал и вернулся домой лишь поздно вечером.

Но на другое утро он окончательно исчез. Вместе с ним исчезла и маленькая сплетенная из двухцветной коры корзинка, в которой перевозчики хранили те медные и серебряные монеты, которые они получали как плату за перевоз. Исчезла и лодка. Сиддхартха увидел ее лежащей на другом берегу. Мальчик бежал.

– Я должен пойти за ним, – сказал Сиддхартха, который после вчерашней сцены с мальчиком еще весь дрожал от горя. – Ребенку нельзя ходить одному через лес. Он погибнет. Мы должны соорудить плот, Васудева, чтобы переправиться через реку.

– Мы построим плот, чтобы привести обратно лодку, похищенную мальчиком, – сказал Васудева. – А за ним гоняться не следует, мой друг. Он уже не ребенок, он сам за себя постоит. Он направился в город, и он прав – не забывай этого. Он делает то, что тебе следовало сделать. Он сам заботится о себе, идет своей дорогой. Ах, Сиддхартха, я вижу, что ты страдаешь, но над такими страданиями следовало бы посмеяться. Да ты и сам скоро будешь смеяться над ними.

Сиддхартха ничего не ответил. Он уже взял в руки топор и начал сколачивать плот из бамбука, а Васудева помогал ему, связывая стволы сплетенной из трав бечевой. Потом они переправились на ту сторону, и, так как их унесло вниз течением, то им пришлось тащить плот по берегу против течения.

– Зачем ты захватил топор? – спросил Сиддхартха.

– На случай, если весло пропало, – ответил Васудева.

Но Сиддхартха понял, почему его друг захватил топор. Он опасался, что мальчик забросил или сломал весло, чтобы отомстить и помешать им преследовать его. И в самом деле, в лодке весла не оказалось. Васудева показал рукой на дно лодки и взглянул на друга с улыбкой, словно говоря: «Разве ты не видишь, что тебе говорит твой сын? Разве не видишь, что он не хочет, чтобы его преследовали?» Но он не сказал этого вслух, и принялся обтесывать новое весло. Сиддхартха же попрощался с ним, чтобы отправиться на поиски бежавшего, и Васудева не возражал.

Но когда он успел уже пройти лесом значительное расстояние, у Сиддхартхи явилась мысль, что напрасны его поиски. Либо, – подумал он, – мальчик уже далеко опередил его и теперь находится в городе, либо же, если он еще в лесу, то наверно будет прятаться от своего преследователя. Продолжая размышлять, он пришел к сознанию, что он, в сущности, совсем не тревожится за сына, что он в глубине души знает, что тот не погиб, что ему в лесу не грозила никакая опасность. И все же он шел безостановочно – уже не для того, чтобы спасти мальчика, но из желания хоть раз еще повидать его. Так он шел до самого города.

Когда поблизости от города он вышел на большую дорогу, то остановился у входа в прекрасный парк, который когда-то принадлежал Камале и где он впервые увидел ее в носилках. В душе его ожили воспоминания о том времени: он увидел себя таким, каким стоял тогда у входа – молодым, обросшим бородой, почти ничем не прикрытым саманой с запыленными волосами. Долго стоял он и смотрел в открытые ворота сада, где монахи в желтых рясах расхаживали между прекрасными деревьями.

Долго стоял он, погруженный в раздумье, созерцая картины прошлого, прислушиваясь к истории своей жизни. Долго стоял он, глядя вслед монахам, но вместо них видел молодого Сиддхартху, видел молодую Камалу гуляющими под высокими деревьями. Он с совершенной ясностью видел самого себя, видел, как его угощала Камала, как он получил ее первый поцелуй, как он гордо и презрительно оглянулся на свое прошлое брахмана, как гордо и жадно устремился в мирскую жизнь. Он видел вновь Камасвами, видел своих слуг, пиры, игроков в кости, музыкантов, видел певчую птичку Камалы в клетке, вновь переживал все это, дышал воздухом сансары, и затем снова чувствовал себя старым и утоленным, снова переживал тогдашнее отвращение и желание покончить с собой, и снова исцелялся священным «Ом».

Простояв долгое время у ворот сада, Сиддхартха понял, как нелепо

было то желание, которое привело его сюда. Он понял, что не может ничего сделать для сына, что он не вправе приставать к нему. Словно рана, горела у него глубоко в сердце любовь к бежавшему, но в то же время он чувствовал, что не следует растравлять эту рану, что надо дать ей распусться в цветок и излучать из себя свет.

Но в этот час рана еще не цвела, еще не излучала света, и потому он оставался печальным. То желание-цель, которое привело его сюда, вослед убежавшему сыну, теперь сменилось чувством пустоты. Печально опустился Сиддхартха на землю, чувствуя, как что-то умирает в его сердце, чувствуя пустоту, не видя перед собой никакой радости, никакой цели. Так сидел он погруженный в себя и ждал. Этому-то он научился у реки: ждать, иметь терпение, прислушиваться. И он сидел и слушал, сидел в пыли проезжей дороги и прислушивался к своему сердцу, которое билось так устало и печально, и ждал какого-нибудь голоса. Не один час просидел он таким образом – он уже не видел никаких картин, он все глубже погружался в пустоту, не видя перед собой никакой дороги. А когда рана начинала гореть особенно сильно, он беззвучно произносил слово «Ом», преисполнялся этого Ом. Монахи в саду увидели его, и так как он уже много часов сидел, съежившись, на одном месте и на его седых волосах накоплялась пыль, то один из монахов вышел из сада и положил перед ним два банана. Старик даже не заметил этого.

Из этого оцепенения его пробудила чья-то рука, коснувшаяся его плеча. Он тотчас же узнал это нежное, стыдливое прикосновение и пришел в себя. Он поднялся и приветствовал Васудеву, который последовал за ним. А когда он взглянул в приветливое лицо Васудевы, в его маленькие, словно заполненные одними улыбками морщинки, в ясные глаза, тогда и он улыбнулся. Тут он увидел перед собой положенные монахом бананы, поднял их, один протянул перевозчику, а другой съел сам. После чего молча отправился с Васудевой в лес и вернулся к перевозу. Никто не обмолвился ни словом о том, что произошло в этот день, – никто не произнес имени мальчика, не говорил о его бегстве, не вспоминал про нанесенную им рану. Придя в хижину, Сиддхартха лег на свое ложе, и когда Васудева через некоторое время подошел к нему, чтобы предложить чашку кокосового молока, то нашел его уже погруженным в сон.

Долго еще горела рана Сиддхартхи. Не раз случалось ему переправлять через реку проезжих, имевших при себе сына или дочь, и ни разу не случилось, чтобы он не почувствовал зависти, не подумал: «Столько людей, столько тысяч людей обладают этим сладостнейшим счастьем – почему же я лишен этого? Ведь и злые люди, воры и убийцы, имеют детей, любят их и любимы ими – один лишь я лишен этого блага». Так просто, так неразумно размышлял он теперь, до такой степени уподобился он людям-детям.

Совсем иными глазами глядел он теперь на людей – менее рассудочно, менее гордо, зато с большей теплотой, с большим интересом и сочувствием. Когда он перевозил людей обычного типа – людей-детей, дельцов, воинов, женщин, то они уже не казались ему чуждыми, как бывало: он понимал их, понимал и сочувствовал их жизни, руководимой не мыслями и умозрениями, а инстинктами и желаниями. Он чувствовал себя таким же, как они. Уже близкий к совершенству, переживая свое последнее личное горе, он все же смотрел на этих людей, как на своих братьев. Их суетные, мелкие желания и вожделения перестали казаться ему смешными – они были ему теперь понятны, достойны любви, даже уважения. Слепая любовь матери к своему ребенку, глупая слепая гордость отца, восторгающегося воображаемыми достоинствами своего сына, слепая неукротимая страсть к украшениям и жажда восхищенных мужских взоров у молодой тщеславной женщины – все эти ребячества, все эти простые, нелепые, но необыкновенно сильные, живучие и властно требующие удовлетворения инстинкты и страсти уже не казались Сиддхартхе ребячеством. Он убедился, что люди живут ими, что ради них они совершают бесконечно многое-предпринимают путешествия, ведут войны, претерпевают всевозможные лишения и страдания. И он научился теперь их любить за это. Он видел жизнь, живое, неуничтожаемое, видел Брахму в каждой из человеческих страстей, в каждом человеческом поступке. Достойными любви и удивления казались ему теперь люди в своей слепой верности, слепой силе и упорстве. Мичем они не стояли ниже, ни одного преимущества не имел над ними ученый и мыслитель, кроме одного, единственного: сознания, сознательной мысли о единстве всего живущего. И подчас у Сиддхартхи даже возникало сомнение, действительно ли это знание, эта мысль имеют такую высокую ценность, не представляет ли и

это знание одно из ребячеств мыслящих людей-детей. Во всем прочем, на его взгляд, мирские люди стояли не ниже, а часто даже и выше мудреца, подобно тому, как и животные, в своем упорном, не уклоняющемся в сторону стремлении к достижению необходимого им, подчас кажутся стоящими выше людей.

Медленно развивалось и созревало в Сиддхартхе сознание, что такое, в сущности, мудрость, в чем заключалась цель его многолетних исканий. Ведь, в конце концов, она сводилась лишь к готовности души, к способности к тайному искусству – во всякую минуту, среди всяких переживаний мыслить, чувствовать, вдыхать в себя единство. Медленно, словно цветок, распускалось в нем это сознание, и на старом детском лице Васудевы он находил отблеск его сияния: гармонию, уверенность в вечном совершенстве мира, улыбку, единство.

Но рана в душе все еще горела – с тоской и горечью вспоминал Сиддхартха своего сына, лелеял в сердце свою любовь и нежность, растревлял свое горе, совершал все безумства любви. Вовек неугасимым казалось это пламя.

И вот однажды, когда рана горела особенно сильно, Сиддхартха, снедаемый тоской, переправился через реку, вышел из лодки и готов был уже отправиться в город, чтобы разыскать сына. Река текла медленно и тихо – это было в сухое время года – но голос ее звучал как-то странно, словно она смеялась! Река звонко и явственно смеялась над старым перевозчиком. Сиддхартха остановился, склонился над водой, чтобы лучше слышать, и в медленно протекавшей воде увидел свое лицо. В этом отраженном лице было нечто, напомнившее ему о чем-то позабытом. Он подумал и вспомнил: это лицо походило на другое, которое он когда-то знал, любил и вместе с тем боялся. Оно походило на лицо его отца, брахмана. И Сиддхартха вспомнил, как некогда, юношей, вынудил отца отпустить его к аскетам, как он простился с ним, как ушел и никогда не возвращался. Не заставил ли он своего отца страдать столько же, сколько он страдал теперь из-за своего собственного сына? Не ожидает ли и его, Сиддхартху, такая же участь? Не комедия ли это, не странная и глупая вещь – это повторение, этот бег в роковом круге?

Река смеялась. Да, это так – все повторяется, все, что не было выстрадано до конца и искуплено. Одни и те же страдания повторяются без конца. И Сиддхартха снова сел в лодку и вернулся в свою хижину, вспоминая своего отца и сына, осмеянный рекой, борясь с самим собой, близкий к отчаянию и в то же самое время склонный громко хохотать над собой и всем миром. увы, еще не зацвела его рана, еще не примирилось

сердце с судьбой, еще не засияла радость победы из его страдания. Но все же в нем уже шевелилась надежда, и когда он вернулся в хижину, то почувствовал непреодолимое желание раскрыть свою душу перед Васудевой, все показать, все высказать другу, с таким совершенством умевшему слушать.

Васудева сидел в хижине и плел корзинку. Он уже не работал у перевоза; его зрение ослабело, и не только зрение, но и руки. Неизменным и цветущим оставалось только ясное, исполненное благожелательности выражение его лица.

Сиддхартха подсел к старику и начал медленно рассказывать. Все, о чем они до сих пор ни разу не заговаривали, все рассказал он теперь: о том, как он побежал вслед за сыном в город, о своих жгучих страданиях, о своей зависти при виде счастливых отцов, о том, что он сам сознает всю безрассудность своих желаний и о тщетности своей борьбы с ними. Все он поведал своему другу – обо всем он мог теперь свободно говорить, даже о самом мучительном. Он раскрыл перед ним свою рану, рассказал и о своем сегодняшнем бегстве, о своей ребяческой затее отправиться в город и о том, как его высмеяла река.

И в то время, как он говорил, а Васудева спокойно слушал, Сиддхартха сильнее, чем когда-либо, ощущал, как благотворно на него действует это свойственное его другу умение слушать. Он чувствовал, как все его страдания, тревоги и тайная надежда переливаются в слушателя, и только последняя возвращается к нему назад. Показать такому слушателю свою рану было все равно, что купать и охлаждать ее в реке, пока жар не спадет и она не сольется с рекой.

И, продолжая говорить и исповедоваться, Сиддхартха все более и более чувствовал, что тот, кто слушает его, уже не Васудева, не человек, что этот неподвижно сидящий слушатель всасывает в себя его исповедь, как всасывает дерево дождевую воду, что этот неподвижно сидящий – сама река, само божество, само вечное. И по мере того, как Сиддхартха переставал думать о себе и о своей ране, сознание происшедшей с Васудевой перемены все более овладевало им. Но чем более он чувствовал эту перемену, тем менее она его удивляла, тем яснее он сознавал, что все это совершенно естественно, что Васудева уже давно, почти всегда был таким, только он, Сиддхартха, не замечал этого, мало того, – что он и сам почти ничем не отличается от Васудевы. Он понял, что видит теперь старого Васудеву в таком свете, в каком народ видит богов, и что это не может долго продолжаться. В своем сердце он уже начал прощаться с Васудевой. Но при всем том он продолжал рассказывать о себе по-

прежнему.

Когда он кончил свою исповедь, Васудева поднял на него свои ласковые, несколько ослабевшие глаза, и молча, без слов, озарил его взглядом, полным любви, радости, понимания и знания. Он взял руку Сиддхартхи, повел его к их обычному месту на берегу, сел рядом с ним и улыбнулся реке.

– Ты слышал, как она смеялась, – сказал он. – Но ты не все слышал. Давай прислушиваться, ты услышишь еще многое.

Они стали слушать. Мягко звучало тысячеголосое пение реки. Сиддхартха глядел в воду, и в текущей воде перед ним проходили образы: сначала показался отец, одинокий, оплакивающий своего сына, потом он увидел себя, также одинокого, также прикованного цепями тоски к далекому сыну. Прошел и этот сын, такой же, как он, одинокий, бурно стремящийся вперед по горючей стезе своих молодых желаний – все они стремились к одной цели, каждый был словно одержим своей целью, и каждый страдал. Река пела голосом, в котором звучали страдание и страстная тоска. Со страстным нетерпением она стремилась к своей цели, страстной жалобой звучал ее голос.

– Слышишь? – спросил немой взор Васудевы. Сиддхартха кивнул головой. – Слушай лучше! – прошептал Васудева. Сиддхартха напряг все свое внимание. Образ отца, его собственный и образ сына слились вместе; один за другим всплывали образы Камалы, Говинды и других людей, но все расходились, растворялись в реке и, вместе с нею тоскуя, желая, страдая, стремились к цели. И голос реки зазвучал тоскою, жгучей болью, неутолимым желанием. Сиддхартха видел, как спешила к своей цели река, состоявшая из него, его близких и всех когда-либо виденных им людей. Все волны и воды стремились к какой-нибудь цели – к водопаду, озеру, к стремнине, к морю; все цели достигались, а взамен их являлись новые цели. Вода превращалась в пар, поднимавшийся к небу; пар становился дождем и устремлялся вниз, становился источником, ручьем, рекой и снова начинал стремиться, катиться к цели. Но вот звучавший страстным томлением голос реки изменился. Он слышался теперь, горестный и ищущий, но другие голоса присоединились к нему – голоса радости и горя, добрые и злые, смеющиеся и печальные, сотни, тысячи голосов...

Сиддхартха все слушал. Он теперь весь превратился в слух. Словно совершенно пустой, он впитывал в себя все звуки и чувствовал, что теперь и сам изучил вполне искусство слушать. Он и раньше не раз слышал все эти многочисленные голоса в реке, но сегодня они звучали как-то особенно. Уже он не мог больше различать одни голоса от других – радостные от

плачущих, детские – от голосов взрослых. Все сливалось теперь в одно – жалобы тоскующих и смех умудренных, крики гнева и стоны умирающих – все составляло одно, все сочеталось вместе, все переплеталось в тысячекратном сплетении. И все вместе – все голоса, все цели, все порывы и страдания, все наслаждения, все доброе и злое – все вместе взятое составляло их. Все вместе взятое было потоком событий, было музыкой жизни. А когда Сиддхартха внимательно прислушивался к реке, к ее тысячеголосой песне, когда он не обращал преимущественного внимания ни на жалобы, ни на смех, не уходил своим Я в один какой-либо голос, а слушал их все одновременно, внимал всему и слышал единство, тогда эта великая песнь, распеваемая тысячами голосов, оказывалась состоящей из одного единственного слова; это было слово Ом – совершенство. – Слышишь? – снова спросил глазами Васудева. Ярko сияла улыбка Васудевы; она светилась над всеми морщинками его старого лица, как парило Ом над всеми голосами реки. Ярko светилась его улыбка, когда он взглядывал на друга, и так же ярko засияла теперь такая же улыбка и на лице Сиддхартхи. Его рана зацвела, его горе стало излучать свет, его Я слилось с вечностью.

В этот час Сиддхартха перестал бороться с судьбой, перестал страдать. На лице его расцвела радость знания, которому не противится уже воля, которое познало совершенство, примирилось с течением событий – с потоком жизни, которое страдает и радуется вместе со всеми, отдается общему потоку, входит в единство.

Когда Васудева поднялся со своего сиденья на берегу и, взглянул в глаза Сиддхартхи, увидел в них радостный свет знания, он слегка, со свойственной ему нежной и осторожной манерой, коснулся рукой его плеча и сказал:

– Я ждал этого часа, мой милый. Теперь, когда он наступил, позволь мне уйти. Долго я ждал этого часа, долго я был перевозчиком Васудевой. Теперь довольно. Прощай, хижина, прощай, река, прощай, Сиддхартха!

Сиддхартха низко склонился перед уходящим.

– Я это знал, – тихо проговорил он. – Ты уходишь в леса?

– Я ухожу в леса, я ухожу в Единство! – сказал Васудева с сияющим лицом.

И все с тем же сияющим видом он ушел. Сиддхартха провожал его глазами. С глубокой радостью и глубокой серьезностью он смотрел ему вслед, видел его полную мира походку, его озаренную сиянием голову, его светящуюся фигуру.

ГОВИНДА

Вместе с другими монахами Говинда провел однажды время отдыха в парке, подаренном куртизанкой Камалой ученикам Гаутама. Тут он не раз слышал об одном старом перевозчике, живущем на расстоянии одного дня пути по берегу реки. Многие считали его мудрецом. Когда Говинда опять пустился в странствие, то направился к перевозу, чтобы иметь возможность познакомиться с перевозчиком. Ибо – хотя он всю свою жизнь провел в строгом согласии с уставом, хотя, благодаря своему возрасту и своей скромности, пользовался большим уважением со стороны более молодых монахов, но в сердце его еще не улеглись тревога и искания.

Придя к реке, он попросил старика перевезти его и, когда они вышли из лодки на другом берегу, он сказал перевозчику: «Много добра ты делаешь нам, монахам и странникам; многих из нас ты уже перевозил. Не принадлежишь ли и ты, перевозчик, к числу ищущих истинного пути?»

На что Сиддхартха, улыбаясь своими старыми глазами, ответил:

– Ты называешь себя ищущим, о почтеннейший, но ведь ты уже в преклонном возрасте и носишь одеяние монахов Гаутамы.

– Стар я, – ответил Говинда, – а искать никогда не переставал. И не перестану-так уж, видно, мне суждено. И ты, сдается мне, искал: не скажешь ли ты мне чего-нибудь, почтеннейший?

– Что же я могу сказать тебе, достопочтенный? Разве то, что ты слишком много ищешь; из-за чрезмерного искания ты не успеваешь находить.

– Как так? – спросил Говинда.

– Если кто-нибудь очень усердно ищет, – сказал Сиддхартха, – то глаз его становится нечувствителен ко всему, помимо того, что он разыскивает, и тогда он ничего не замечает, ничего не воспринимает, потому что его мысль всегда занята искомым, потому что у него есть цель, и он одержим этой целью. Искать – значит иметь цель. Находить же – значит быть свободным, оставаться открытым для всяких восприятий, не иметь цели. Ты, достопочтеннейший, видно, и в самом деле принадлежишь к числу искателей, ибо, поглощенный своей целью, не замечаешь многого, что у тебя перед глазами.

– Я не совсем понимаю тебя, – сказал Говинда, – что ты хочешь сказать?

– Однажды, о достопочтеннейший, много лет тому назад, ты уже был в

этих местах. Ты увидел на берегу реки спящего человека и остался подле него, чтобы охранять его сон. Ты знал спящего, о Говинда, а все-таки не узнал.

Изумленный, словно зачарованный, глядел монах в глаза перевозчика.

– Неужели ты Сиддхартха? – спросил он неуверенным голосом. – Я бы и на этот раз не узнал тебя, Сиддхартха. Как я рад, что вижу тебя еще раз! Ты очень изменился, друг. Так ты теперь стал перевозчиком?

С ласковой улыбкой ответил Сиддхартха:

– Да, я стал перевозчиком. Некоторым людям, Говинда, приходится часто менять свой облик, надевать всяческое платье – я из числа этих людей, милый. Добро пожаловать, Говинда, переночуй сегодня в моей хижине.

Говинда провел ночь в хижине Сиддхартхи и спал на ложе, принадлежавшем Васудеве. Он осыпал вопросами друга своей молодости, и Сиддхартха должен был рассказать ему многое из своей жизни.

На другое утро, перед тем, как пуститься снова в путь, Говинда – не без колебания – обратился к своему другу со словами:

Прежде чем продолжать свой путь, Сиддхартха, позволь задать тебе еще один вопрос: есть ли у тебя какое-либо учение? Есть ли у тебя какая-нибудь вера или знание, которым ты сле дуешь, которые помогают тебе жить и жить по правде?

Ему ответил Сиддхартха:

– Ты знаешь, мой милый, что я еще молодым человеком, когда мы жили у аскетов в лесу, перестал доверять учителям и учениям и повернулся к ним спиной. Я и теперь таких же взглядов. Тем не менее, у меня с того времени было много учителей. Долгое время моим учителем была одна прекрасная куртизанка. Еще были у меня учителями один богатый купец и несколько игроков в кости. Однажды моим учителем был странствующий ученик Будды. Он сидел подле меня, когда я заснул в лесу, во время странствия. И от него я кое-чему научился, и ему я благодарен, весьма благодарен. Но больше всего я учился у этой реки и у моего предшественника Васудевы. Это был совсем простой человек, он не был мыслителем, но он знал то, что знать необходимо, так же хорошо, как и сам Гаутама. Он и сам был Совершенный, святой.

Говинда же сказал:

– Ты, кажется, и поныне еще любишь немного насмехаться. Я верю тебе, Сиддхартха, и понимаю, что у тебя были многие учителя. Но нет ли у тебя самого если не учения, то хоть известных мыслей, известных познании, которые выношены тобой одним и помогают тебе жить? Если

бы ты поделился ими со мною, то порадовал бы мое сердце.

– Да, – ответил Сиддхартха, – у меня бывали свои мысли, от времени до времени даже являлись откровения. Иногда – в течение часа или целого дня – я чувствовал в себе знание, точь-в-точь как ты чувствуешь жизнь в своем сердце. Разные это были мысли, но мне трудно было бы передать их тебе. Вот, к примеру, одна из мыслей, принадлежащих мне лично: мудрость непередаваема. Мудрость, которую мудрец пытается передать другому, всегда смахивает на глупость.

– Ты шутишь? – спросил Говинда.

– Я не шучу. Я говорю то, в чем убедился на деле: передать можно другому знание, но не мудрость. Последнюю можно найти, проводить в жизнь, ею можно руководиться; но передать ее словами, научить ей другого – нельзя. Еще когда я был юношей, у меня временами мелькала эта мысль: она-то и заставила меня уйти от учителей. А вот еще одна мысль, которую ты, Говинда, примешь снова за шутку или за глупость, но которую я считаю лучшей из своих мыслей. Он гласит: по поводу каждой истины можно сказать нечто совершенно противоположное ей, и оно будет одинаково верно. Дело, видишь ли, в том, что истину можно высказать, облечь в слова лишь тогда, когда она односторонняя. Односторонним является все, что мыслится умом и высказывается словами – все односторонне, все половинчато, во всем не хватает целостности, единства. Когда возвышенный Гаутама говорил в своих проповедях о мире, то должен был делить его на Сан-сару и Нирвану, на призрачность и правду, на страдание и искупление. Иначе и нельзя. Нет иного способа для того, кто хочет поучать других. Но сам мир, все сущее вокруг нас и в нас самих, никогда не бывает односторонним. Никогда человек или деяние не бывает исключительно Сансарой или исключительно Нирваной, никогда человек не бывает ни совершенным святым, ни совершенным грешником. Нам представляется так, потому что мы находимся под влиянием ложного представления, будто время есть нечто действительно существующее. Время не существует, Говинда, я часто, очень часто убеждался в этом. А если время и есть нечто действительно существующее, то грань, по-видимому отделяющая мир от вечности, страдание от блаженства, зло от добра, оказывается также призрачной.

– Как так? – испуганно спросил Говинда.

– Слушай, мой милый, слушай внимательно. Грешник, вроде меня или тебя, конечно грешник и есть, но когда-нибудь он будет снова Брамой; когда-нибудь он достигнет Нирваны, будет Буддой. Так вот, заметь себе: это «когда-нибудь» – только ложное представление, образное выражение.

Грешник не есть человек, еще только находящийся на пути к совершенству Будды; он не находится в какой-нибудь промежуточной стадии развития, хотя наше мышление не в состоянии представлять себе эти вещи. Нет, в грешнике уже теперь, уже сейчас живет будущий Будда, его будущее уже налицо. И в нем, и в тебе, и в каждом человеке ты должен почитать грядущего, возможно, скрытого Будду. Мир, друг Говинда, не есть нечто совершенное или медленно подвигающееся по пути к совершенству. Нет, мир совершенен во всякое мгновение; каждый грех уже несет в себе благодать, во всех маленьких детях уже живет старик, все новорожденные уже носят в себе смерть, а все умирающие – вечную жизнь. Ни один человек не в состоянии видеть, насколько другой подвинулся на своем пути; в разбойнике и игроке ждет Будда, в брахмане ждет разбойник. Путем глубокого созерцания можно приобрести способность отрешаться от времени, видеть все бывшее, сущее и грядущее в жизни, как нечто одновременное, и тогда все представляется хорошим, все совершенно, все есть Брахман. Оттого-то все, что существует, кажется мне хорошим: смерть, как и жизнь, грех, как и святость, ум, как и глупость – все должно быть таким, как есть. Нужно только мое согласие, моя добрая воля, мое любовное отношение – чтобы все оказалось для меня хорошим, полезным, неспособным повредить мне. На собственном теле и на собственной душе я убедился в том, что мне нужен был грех, что и сладострастие, и стремление к земным благам, и тщеславие – мне нужны были в такой же степени, как и мое постыдное отчаяние, дабы наконец отказаться от противодействия миру, дабы научиться любить его таким, как он есть, не сравнивая его с каким-то желательным, созданным моим воображением миром, с придуманным мною видом совершенства. Вот, о Говинда, некоторые из моих мыслей, до которых я додумался.

Сиддхартха нагнулся, поднял с земли камень и взвесил его на руке.

– Вот камень, – сказал он, играя последним. – Через некоторое время он, может быть, превратится в прах, а из земли станет растением, животным или человеком. В прежнее время я бы сказал: «Этот камень – только камень. Он не имеет никакой ценности, он принадлежит миру Майи. Но так как в круговороте перевоплощений он может стать человеком или духом, то я и за ним признаю ценность». Так, вероятно, я рассуждал бы раньше. Ныне же я рассуждаю так. Этот камень есть камень; он же и животное, он же и бог, он же и Будда. Я люблю и почитаю его не за то, что он когда-нибудь может стать тем или другим, а за то, что он давно и всегда есть то и другое. Именно за то, что он камень, что он теперь, сегодня представляется мне камнем – именно за то я люблю его и вижу ценность и

смысл в каждой из его жилок и скважин, в его желтом или сером цвете, в его твердости, в звуке, который он издает, когда я постучу в него, в сухости или влажности его поверхности. Бывают камни, которые на ощупь словно масло или мыло; другие напоминают листья, третьи песок; каждый представляет что-нибудь особенное, каждый молитвенно произносит Ом на свой манер, каждый есть Брахма и в то же время, в той же самой степени – камень, маслянистый или сочный. И это-то именно нравится мне; это-то и кажется мне удивительным, достойным благоговения. Но довольно об этом. Слова вредят тайному смыслу. Стоит только высказать какую-нибудь мысль вслух, как она уже получает несколько иной характер, звучит немного фальшиво, немного глупо. Впрочем, и это хорошо и нравится мне. Пусть то, что один человек считает своим сокровищем и мудростью, звучит для другого, как глупость – я и против этого ничего не имею.

Безмолвно выслушал его Говинда.

– Почему ты выбрал для примера камень? – спросил он нерешительно, после некоторого раздумья.

– Я сделал это случайно. А впрочем – я, может быть, и хотел тебе показать, что я одинаково люблю и камень, и реку, и все вещи, на которые мы смотрим и от которых мы можем чему-нибудь научиться. Камень я могу любить, Говинда, так же, как и дерево или кусок коры. Это вещи, а вещи можно любить. Но слова я любить не могу. Оттого-то всякие учения ничего для меня не стоят; они не обладают ни твердостью, ни мягкостью, у них нет цветов, запаха и вкуса, нет граней – они представляют одни лишь слова. Быть может, именно это, именно обилие слов мешало тебе обрести душевный мир. Ведь искупление и добродетель, Сансара и Нирвана – также одни только слова. Нет такой вещи, которую можно назвать Нирваной. Есть только слово Нирвана.

– Нирвана не одно только слово, друг мой, – заметил Говинда. – Это мысль.

– Мысль – пожалуй, – продолжал Сиддхартха. – Только признаюсь тебе, мой милый: я не вижу большого различия между мыслями и словами. Откровенно говоря, я не придаю особого значения и мыслям. Для меня важнее вещь. Здесь, на этом перевозе, например, моим предшественником и учителем был святой человек, который много лет верил в одну только реку, другой религии у него не было. Он заметил, что река имеет голос, и стал прислушиваться к нему. Этот голос стал его учителем и руководителем, сама река представлялась ему божеством. В течение многих лет он и не подозревал, что каждый ветерок, каждое облако, каждая птица или жук в такой же степени божественны, столько же знают и могут

научить, как почитаемая им река. Но к тому времени, как этот святой ушел в леса, он уже знал все, знал больше, чем я или ты, и без помощи учителей и книг – только потому, что верил в реку.

Говинда же возразил:

– Но разве то, что ты называешь «вещами», представляет что-нибудь действительно существующее, имеет реальность? Не являются ли они только обманчивыми, призрачными образами Майи? Разве твой камень, твое дерево, твоя река – реально существующие вещи?

– И это меня мало тревожит, – ответил Сиддхартха. – Пусть вещи имеют только кажущееся бытие. Но ведь в таком случае и мое бытие есть только кажущееся – значит, в том и в другом случае, они одинаково сродни мне. Оттого-то я и отношусь к ним с любовью и уважением. Оттого-то я и могу любить их. А вот наконец и мое учение, над которым ты, наверное, будешь смеяться: Любовь, о Говинда, по-моему важнее всего на свете. Познать мир, объяснить его, презирать его – все это я предоставляю великим мыслителям. Для меня же важно только одно – научиться любить мир, не презирать его, не ненавидеть его и себя, а смотреть на него, на себя и на все существа с любовью, с восторгом и уважением.

– Это я понимаю, – сказал Говинда. – Но именно это Возвышенный признал заблуждением. Он предписывает доброжелательность, терпимость, кротость, снисходительность, но не любовь. Он запретил нам отдавать наше сердце любви к земному.

– Знаю, – сказал Сиддхартха, и улыбка засияла на его лице. – Я знаю это, Говинда. Вот мы и забрели с тобой в дебри мнений, в спор из-за слов. Не могу отрицать, мои слова о любви как будто находятся в противоречии со словами Гаутама. Оттого я и не доверяю словам. Но это противоречие только кажущееся. Я знаю, что я совершенно согласен с Гаутамой. Возможно ли, чтобы не знал любви тот, кто познав всю бренность и ничтожность человеческого бытия, тем не менее настолько любил людей, что посвятил долгую, тяжелую жизнь исключительно тому, чтобы помочь им, просветить их. И в нем, в твоём великом учителе, дело мне милее слов, его жизнь и дела важнее его речей, движение его руки важнее его мнений. Не в словах и мыслях вижу я его величие, а в делах и в жизни.

Долго молчали оба старика. Наконец Говинда произнес с прощальным поклоном:

– Благодарю тебя, Сиддхартха, за то, что ты высказал мне некоторые из своих мыслей. Они кажутся мне несколько странными, я не все сразу и понял. Но как бы то ни было, я благодарен тебе и желаю тебе спокойных дней.

Про себя же он подумал: «Странный человек – этот Сиддхартха! Станные у него мысли, и нелепо звучит его учение. Не таково чистое учение Возвышенного. Последнее яснее, чище, понятнее, в нем нет ничего странного, нелепого или смешного. Но совсем иными, не похожими на его мысли кажутся мне руки и ноги Сиддхартхи, его глаза, его лоб, его дыхание, его улыбка, его поклон и походка. Ни разу с тех пор, как возвышенный Гаутама ушел в Нирвану, ни разу не встречал я человека, при виде которого я бы почувствовал – вот святой. Один только Сиддхартха внушает мне такое чувство. Пусть его учение звучит странно, пусть его слова кажутся нелепыми – но его взгляд и рука, его кожа и волосы – все в нем сияет такой чистотой, таким спокойствием, такой ясностью, кротостью и святостью, каких я не видел ни у кого из людей с тех пор, как умер последней человеческой смертью наш Возвышенный Учитель.

С такими мыслями в голове, с противоречивым чувством в сердце, Говинда еще раз склонился перед Сиддхартхой. Побуждаемый любовью, он низко склонился перед спокойно сидящим.

– Сиддхартха, – сказал он, – мы с тобой уже старики.

Вряд ли мы еще раз увидим друг друга в этом образе. Я вижу, возлюбленный, что ты обрел покой. Я же, признаюсь, его не нашел. Скажи мне, почитаемый, еще одно слово, напутствуй меня чем-нибудь таким, что было бы доступно моему уму. Тяжел и мрачен бывает по временам мой путь, о Сиддхартха!

Сиддхартха молчал и смотрел на него со своей всегдашней тихой улыбкой. Говинда же не спускал глаз с его лица. Он глядел на него робко, с тоской. Страдание и вечное, не удовлетворенное искание читались в его взоре.

Сиддхартха видел это и улыбался.

– Нагнись ко мне! – прошептал он на ухо Говинде. – Нагнись ко мне! Так, еще ближе! Совсем близко! Поцелуй меня в лоб, Говинда.

Но когда Говинда, изумленный и все же влекомый великой любовью и предчувствием, исполнил желание друга, в ту минуту, когда, низко склонившись, коснулся губами его чела, произошло нечто удивительное. В то время, как его мысль была все еще занята странными словами Сиддхартхи, в то время, как он тщетно и против воли пытался представить себе время несуществующим, а Сансару и Нирвану – как нечто единое, в то время, как в нем боролись некоторое презрение к словам друга с необъятной любовью и благоговением к его личности, с ним произошло следующее.

Лицо его друга, Сиддхартхи, куда-то стусебалось. Вместо него он

увидел перед собой другие лица, множество лиц, длинный ряд, катящийся поток из сотен, тысяч лиц. Все они проходили и исчезали, и в то же время все, казалось, существовали одновременно, все непрерывно менялись и возобновлялись и тем не менее были Сиддхартхой. Он видел перед собой голову умирающей рыбы – карпа с бесконечно-страдальчески открытым ртом, с угасающим взглядом – он видел лицо новорожденного ребенка, красное и сморщенное, искривленное плачем – он видел лицо убийцы, видел, как последний вонзает нож в тело человека – и тут же видел этого преступника связанным и упавшим на колени, и рядом палача, отрубавшего ему голову одним взмахом меча. Он видел тела мужчин и женщин, обнаженные, в позах и судорогах неистовой страсти – видел распростертые трупы, тихие, холодные, пустые – видел головы разных зверей: кабанов, крокодилов, слонов, быков, птиц – видел богов: Кришну, Агни. Все эти лица и фигуры он видел в тысячах сочетаний, то любящими и помогающими друг другу, то ненавидящими и уничтожающими друг друга, то вновь возрождающимися. Каждое было воплощенным стремлением к смерти, было страстным, мучительным признанием бренности, и ни одно, однако, не умирало; каждое только менялось, рождалось вновь, получало новое лицо, и все это без всякого промежутка во времени между тем и другим видом. Все эти образы и лица то находились в покое, то текли, рождали друг друга, плыли куда-то и сливались вместе, а над всем этим потоком постоянно лежало что-то тонкое, бесплотное и все-таки имеющее субстанцию, словно тонкое стекло или яйцо, словно прозрачная кожа, или скорлупа, или маска из воды, и эта маска улыбалась, и этой маской было улыбающееся лицо Сиддхартхи, которого он, Говинда, в эту самую минуту касался своими губами. И эта улыбка маски, эта улыбка единства над стремительным потоком образований, эта улыбка единовременности над тысячами рождений и смертей, эта улыбка Сиддхартхи была точь-в-точь такая же, как та тихая, тонкая, непроницаемая, не то благосклонная, не то насмешливая, мудрая, имеющая тысячу оттенков, улыбка Гаутамы Будды, которую он, Говинда, сотни раз созерцал с благоговением. Так, – признавал Говинда, – могут улыбаться только Совершенные.

Уже не сознавая, существует ли время, продолжалось ли это созерцание один миг или целый век, не зная даже, существует ли действительно Сиддхартха или Гаутама, Я и Ты, словно пронзенный насквозь божественной стрелой, от которой сладка и рана, до глубины души потрясенный и очарованный – Говинда еще с минуту простоял, склонившись над тихим лицом Сиддхартхи, которое он только что

поцеловал, которое только что было ареной всевозможных образований, зарождений и существований. Теперь, после того, как под его поверхностью снова сомкнулась глубина множественности, это лицо приняло свое прежнее выражение. Сиддхартха опять улыбался – тихой, чуть заметной, кроткой улыбкой, не то исполненной доброты, не то насмешливой – точь-в-точь, как улыбался он, Возвышенный.

Низко поклонился ему Говинда. Слезы, которых он даже не чувствовал, струились по его старому лицу. Ярким пламенем горело в его сердце чувство глубочайшей любви, смиреннейшего поклонения. Низко-низко поклонился он – до самой земли – перед неподвижно сидящим, чья улыбка напомнила ему все, что он когда-либо любил в своей жизни, что когда-либо в его жизни было для него дорого и священо.